

- **АВТОР ОТВЕЧАЕТ ПЕРСОНАЖУ** —
письмо Андрея Синавского в редакцию "22"
- **РАССКАЗЫВАЕТ АНАТОЛИЙ ЩАРАНСКИЙ** —
специальное интервью для нашего журнала
- **ДЕВУШКА И ТЕРРОРИСТ** —
новая книга Нелли Гутиной
- **ПОДНЯВШИЕ МЕЧ...** —
нравственные размышления Симоны Вайль и
Иешаягу Лейбовича
- **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ СОЦИО-
ЛОГИИ** —
полемика В. Шляпентоха и О. Кустарева

49
22

№ **49**

МИШУСЯ И ПЕРУСАЛИМ
МОСКВА - АУКУМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год.

Год издания IX

№ 49

август-сентябрь 1986

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. Биллард в Яффо (поэма)	3
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Москва 2042 года (главы из романа)	9
НЕЛЛИ ГУТИНА. Журнал (отрывки из новой книги)	71

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

АНАТОЛИЙ ШАРАНСКИЙ. Интервью для журнала "22".	110
--	-----

КУЛЬТУРА И ЭТИКА

СИМОНА ВАЙЛЬ. "Илиада", поэма о Силе	134
ИЕШАЯГУ ЛЕЙБОВИЧ. "В деяниях великих и войнах..."	154

ЗАПАД—ВОСТОК

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ. Интеллектуалы как носители специ- фических моральных ценностей: там и здесь	164
О. КУСТАРЕВ. Социально-философский фольклор советской интеллигенции (очерк третий)	175

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Идеология и патология.	194
---	-----

ЛЮДИ И КНИГИ

М. ВАЙСКОПФ. Искусство умирать.	204
Ц. КУРЦВЕЙЛЬ. Яростный иконоборец	208

А. ПТАШКИН. Заметки читателя.	211
Премия им. Р. Н. Эттингер за 1986 г.	215

ПИСЬМА

А. СИНЯВСКИЙ. Письмо в редакцию журнала "22"

На последней странице обложки — из работ Г. Виницкого

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Маклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", Р. О. В. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

ЛИТЕРАТУРА

Михаил Генделев

БИЛЛИАРД В ЯФФО

И. Р.

1.

Был бинт горизонт
на коем -
сукровицы полоса
а
день был как день
покойник
с видом на небеса
на акваторию сирого порта
сети
и тех пустей
мысль была о бессмертии
того же сорта
что уловы сетей.

2.

В средиземьи
рифмуется как октябрь
февраль
он месяц макабр
когда
свет поджигается от озноба
и
бухнет в воде вода
абсолютно когда купальни
Водолея искусства для
и
осанку опальных имеют пальмы
сардинского короля.

3.

Суб — в тропиках — холодина
и земную лужу взахлеб пройдя
баттерфляем до половины
в середине
я и очутил себя
(здесь конец цитаты)
здесь
в струях штиля
несущего напрокат
"не был-есть- не буду"
всплывает
"был ли?"
и плывет как использованный предикат.

4.

Здесь конец прогулки
домой в кровать
и
на оборот ключа
так наливается ветер рвать
плащ с чужого плеча
поддувая полы
(добро приземист)
плечо заголив
— о нет! —
а плечо в чешуе золотой экземы
если
смотреть на свет.

5.

Свет истек
куда как не в слюдяное
окно
просто стек вовне
я не только бросил о смерти
но и

она обо мне
я пожал плечами себя представив
снаружи
как мокрой природы часть
и встал проверить щеколды ставен
гости
не ровен час.

6.

Был дом
где
с одною марией
я жил
и поздно вставал
а ежели моросило
вообще не вставал
огромен дом был
через перила
лестниц и галерей
когда возникала нужда в мариин
"Мария!"
кричал я ей.

7.

И так в дому было
ощутимо
что никого в нем нет
что полуседую скребя щетину
я смотрелся в чужой портрет
и спал темно
без сновидений
и пробуждения
не просил
и нам никто серебра и денег
не нес
и не
приносил.

8.

И еще
я
заметил
что перед сном
мы сидим с Марией смотря на ветер
тьму передвигающий за окном
а тьма перехлестывала фрамугу
я
не постелив
пьяную спать уводил подругу
по пояс
медленно
как в залив.

9.

Не страх я вел за ошейник зверя
а зверя тревожного через зал
сам
распахивать дома двери
перед теми
кого не звал
но не извне
а затылка рядом
мне ответили:
"я!"
и шажок к шажку
прошла Мария по бильярдной
и выпила коньяку.

10.

Узок зрак устремленный на
а наоборот
широк
и точка зренья как есть нужна
в игре костяных шаров

закроем глаза
состояние мрака
с небытием сравня
нет скажем тебя без меня
зевака
а
наоборот
меня.

11.

Снаружи
припавший к оконной раме
загляни он в дом
свет горел
ну а мы играли
все
своим чередом
но себя очевидец не обнаружил
и по словам его
из сада
(если смотреть снаружи)
в доме
не было никого.

12.

И качнулись
сырого моря
мясы
а небо на спинах их
подмигнуло и вскачь понесло гримасы
на
в черной пене
губах своих
лбом об барабан турецкий
так
что враз захромав
суки по комнатам детским
жмурились при громах.

13.

Ах
встал белый вал
а стоявшие пали
на корточки серые рядом и при
смерч
драл
накрутивши на пальцы пальмы
с них осыпались нетопыри
Идем!
отвернулась и проговорила
(сел и стал ее голос сам)
идем — сказала тогда Мария —
смотреть как смывает сад.

Яффо. 1985 г.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

“СТИХОТВОРЕНИЯ МИХАИЛА ГЕНДЕЛЕВА”

Новый сборник стихов известного поэта, завоевавшего популярность в широких читательских кругах.

Цена 8 долларов, включая пересылку. Заказы и чеки принимаются по адресу Тель-Авив, Яффо, улица Шаарей-Никанор, 6.

У НАС В ГОСТЯХ

Из того, что я узнаю по телевидению или из газет, трудно составить сколько-нибудь полное представление о том, когда точно произошла Августовская революция и что именно было ее причиной, но по тем отрывочным сведениям, которые я в конце концов получил, я понял вот что.

До революции, когда никакого Москорепа еще не существовало в природе, Советским Союзом правили глубокие старцы. То есть они не всегда конечно были такими глубокими. Власть они обычно захватывали еще полными сил и здоровья. И всякий раз принимались за омоложение кадров. Но за время омоложения они обычно успевали состариться и умудренные возрастом приходили к мысли, что наиболее прогрессивной формой правления является форма маразматическая. И держались за свои места до самой смерти. Новое поколение правителей опять принималось омолаживать кадры и снова не успевало. Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины, каждое следующее поколение вождей было старше предыдущего. Дело дошло до того, что из двенадцати последних членов Политбюро семь заканчивали свою деятельность, нахо-

Владимир Войнович

МОСКВА 2042 ГОДА

(главы из романа)

Копирайт автора

дядь в полном маразме, двое передвигались исключительно в инвалидных креслах, один был полностью парализован, другой глух, как тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние шесть лет в коматозном состоянии.

Тогда-то Гениалиссимус и произвел революцию, которая произошла в результате так называемого "заговора рассерженных генералов КГБ".

Генералы были все молодые, энергичные и все, как на подбор, красавцы. Придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, ячеством, пустословием, славословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами, но больше всех трудился сам Гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате. И оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом. Он вникал во все. Иногда заметит, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлет приказ: начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Бывало заметит, какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, так даже номер запишет и сообщает в автоинспекцию.

— И вот такими пустяками он занимался? — спросил я Искрину.

— Ну, почему же пустяками? — недовольно возразила она. — Он всем занимался. По его идее и под его руководством у нас построен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после Августовской революции. Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении Гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. Гениалиссимус свер-

ху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют Верховный Пятиугольник и Редакционная Комиссия.

Как построили коммунизм

Над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но трудящиеся всего Советского Союза.

С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба.

Были приглашены также иностранные специалисты, включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров.

Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы, разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, маек с надписью "I love communism" и изготовленных в Германии различных сортов двуслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками.

Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из Первого Кольца враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того, чтобы лишить их предлога, выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, Оружейная палата Кремля, музей изобразительных искусств имени Пушкина и музей Льва Толстого (ныне музей предварительной литературы) были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве.

Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили шестиметровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колец проволоки, что ею можно было четырежды обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической республики (Второе Кольцо враждебности) поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды.

Кроме того был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные строительные отряды, а школьники в пионерские лагеря.

В день объявления коммунизма все магазины ломались от разнообразных товаров и продуктов питания.

Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось.

Искрина, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные трудящиеся проявили полную несознательность и, несмотря на рабочий день, на работу не вышли, а кинулись в магазины и хватали, что под руку попадет, сверх всяких потребностей.

Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только Смоленском гастрономе было задавлено насмерть четырнадцать человек, в Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз.

Самое большое несчастье случилось в ГУМе, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на третьем этаже и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя.

Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий, и на три дня было объявлено военное положение.

После этого к населению Москорепа обратился лично Гениалиссимус. Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. Он решительно раскритиковал и высмеял тех волонтаристов, которые решили вот так с бухты-барухты ввести дикий коммунизм. Он сказал, что поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние будут отныне определяться Верховным и местными пятиугольниками. Но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять без строжайшей экономии первичного продукта при полной утилизации продукта вторичного.

Я спросил Искрину, почему от нас никто не требует сдачи вторичного продукта. Она сказала, что комуняне повышенных потребностей от этой обязанности освобождены, тем более, что канализационная система нашей гостиницы устроена так, что утилизирует вторичный продукт автоматически.

Комуняне

Искрина сообщила мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Москорепе нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых комунян вообще практически ликвидирована.

— Как это? — не поверил я. — Неужели ваши комунянские ученые изобрели эликсир жизни?

Этот вопрос ее немного смутил. Она помялась и сказала, да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. Просто тяжелобольные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены Редакционной Комиссии или Верховного Пятиугольника, переселяются в Первое Кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсуль-

тов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы Москорепа, а если с кем случится припадок или приступ аппендицита, "Скорая помощь" отвозит его туда же.

— Значит, в Москорепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков? — спросил я.

— Совершенно верно, — подтвердила она. — А еще у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных. Раньше люди их разводили и это было очень глупо. Потому что все эти животные пользы никакой не приносят, а первичный продукт потребляют.

— Значит, их уничтожили?

— Почему обязательно уничтожили? — возмутилась она. — Их тоже выслали в Первое Кольцо.

— Хомяков и черепах выслали? — переспросил я. — А там что с ними сделали?

— Не знаю, — сказала она неохотно. — Может быть, там их съели. Ведь у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои.

.....

Безбумлит

О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и из газеты "Правда", но и из докладов Коммуния Иванова Смерчева и Держина Гавриловича Сиромехина.

Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Москорепа и Первого Кольца в связи с моим юбилеем.

Причем Держин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Коммуний всегда серьезно и даже приподнято.

Я им однажды сказал, что если уж комуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, то им следовало бы ознакомиться не только с произведениями Гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет Гениалиссимус, но все-таки, может быть, комуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них.

— Да, да, да, — охотно согласился Смерчев. — Давно назревшая мера. И она рассматривается нашим руководством. Ну, а пока может быть вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции.

— Конечно, — сказал я. — Давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали.

Вот что рассказал Смерчев по дороге. В Москорепе вся работа Союза Коммунистических писателей по личному указанию Гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ "О перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины" самым решительным образом реорганизована. Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих

писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливые нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и в учреждениях.

— Вы представляете, какое это издевательство над нашими тружениками, — сказал с негодованием Смерчев. — Это же просто какая-то глупость, не так ли?

Я с ним охотно согласился и спросил, какие же нормы выработки установлены теперь для коммунистических писателей.

— Разные, — ответил Смерчев. — Все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается, у кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу: “лучше меньше да лучше”, другие по принципу: “лучше хуже да больше”. Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к девяти часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до двух у них обеденный перерыв, в шесть часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга.

Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза коммунистических писателей. Он состоит из двух Главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединения поэтов, прозаиков и драматургов.

— А в каком объединении находятся критики? — спросил я.

— Ни в каком, — сказал Смерчев. — Критикой у нас занимается непосредственно служба БЕЗО.

— Очень рад это слышать, — сказал я растроганно. — В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей.

— С этой порочной практикой, — нахмурился Смерчев, — у нас навсегда покончено.

Я задал ему ряд второстепенных вопросов, включая такие как, например, какие сейчас жанры более в моде. проза? стихи? пьесы?

— Все, все без исключения жанры, — сказал Смерчев. — Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем Гениалиссимуса.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал я. — Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о Гениалиссимусе?

— Что значит должны? — возразил Смерчев. — Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили и теперь создают небывалый в истории, грандиозный по масштабу коллективный труд — многотомное собрание сочинений под общим названием “Гениалиссимусиана”. Этот труд должен отразить каждое мгновение жизни Гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия.

— А разве у вас нет писателей детских или юношеских?

— Ну конечно же есть. Детские писатели описывают детские годы Гениалиссимуса, юношеские — юношеские, а взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно?

Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня за-подозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и о всяких таких вещах.

На это Смерчев сказал, что в этом отношении и сейчас ничего не изменилось и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к Гениалиссимусу совершенно свободно. Он может так же свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством Гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, которая впадает теперь в Аральское море.

Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший Дом Литераторов.

Теперь там была другая вывеска:

ОРДЕНА ЛЕНИНА ГВАРДЕЙСКИЙ СОЮЗ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗБУМАЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(БЕЗБУМЛИТ)

На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги.

С большим интересом вошел я в открытую Коммунием дверь.

Да, да, это был давно знакомый мне холл Дома Литераторов. Когда его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде Смерчева взяли "на караул".

— Это со мной, — кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно.

— Ну, — сказал Смерчев, — зайдем хотя бы сюда.

Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть, мне сначала так показалось, что в бане. Потому что люди, которые там находились (человек сорок), были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам.

А перед ними за отдельным столом сидел один одетый с погонами подполковника.

При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом:

— Встать! Смирно!

Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись.

— Комсор классик предлитературы, — срывая голос, доложил мне подполковник. — Писатели-разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет

строго по графику. Опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин.

— Вольно! Вольно! — скомандовал я и помаhal всем руками, чтобы сели.

Под дружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд составляют начинающие писатели, или, как их еще называют, под- писатели или подкомписы. Сам он является их руководителем, и его долж- ность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую погоду рабо- тают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа оде- жды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере, потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения.

— Это действительно интересно, — сказал я, — но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут, как они видят написанное?

— А они никак не видят, — сказал подполковник. — В этом нет никакой потребности.

— Как же нет потребности? — удивился я. — Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?

— А зачем это видеть? — в свою очередь удивился подполковник. — Для этого существует общий компьютер, который собирает все матери- алы, сопоставляет, анализирует и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идей- ном отношении слова и выражения и перерабатывает их в единый высоко- художественный и идейно выдержанный текст.

Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я ни- когда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопро- сов подполковнику, но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно мне объяснит.

По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандо- вал “встать смирно”, мы сказали сержантам “до свидания” и вышли. сказали сержантам “до свидания” и вышли.

— Ну, вы поняли что-нибудь? — спросил Смерчев, как мне показалось, насмешливо.

— Не совсем, — признался я. — Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты.

— А вот сюда он идет, — сказал Смерчев и показал мне на дверь с над- писью:

**ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ.
ВХОД ПО ПРОПУСКАМ СЕРИИ “Д”**

Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался.

Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия “на караул”.

Смерчев сказал Сиромыхину, что куда-то торопится и потому передает меня на его попечение.

За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая

комната, где стояли еще двое часовых и за канцелярским столом под портретом Гениалиссимуса сидел молодежавый дежурный в чине майора.

Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось.

— Ну и очень хорошо, — сказал Сиромахин. — Молодец. А мы вот с Классиком решили проверить, как наша машина работает.

Сиромахин приказал открыть дверь, которую я, признаться, не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках.

Сначала с этой двери сорвали сургучную печать, потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках.

Наконец, дверь со ржавым скрипом отворилась, и мы с Дзержином Гавриловичем оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая.

— Ну теперь, — сказал он несколько торжественно, — дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели.

Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержином за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги.

— Откройте глаза! — приказал Дзержин Гаврилович.

Я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой свечей не больше, чем в сорок, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами.

— Что это? — спросил я, совершенно ошарашенный.

— Это и есть мое гениальное изобретение, — сказал Сиромахин, усмехаясь самодовольно.

— Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?

— Я вообще ничего не хочу сказать, — пожал плечами Сиромахин. — По-моему, то, что вы видите, или, точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается.

— Нет, ну послушайте, — сказал я взволнованно, — я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?

— Очень хорошее слово вы нашли, — обрадовался Дзержин. — Именно, ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение: не фиксируется.

— Но сержанты об этом ничего не знают?

— Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?

— Ничего не понятно, — признался я.

— Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши

времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал. Правильно?

— Ну да, — сказал я неуверенно. — Это было конечно, не совсем так, но в общих чертах...

— А я в общих чертах именно и говорю, — сказал Дзержин. — Ну, так вот. Тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали и тем самым создавали им дешевую популярность, возбуждая еще больший интерес к их писаниям. Других, напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что их никто не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег. Ну, сами себе представьте! В ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю тысячу рублей, надо было истратить по крайней мере сто тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас! Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Охламонов. Так вот этот вдохновенный все время пишет одно и то же: "Долой Гениалиссимуса! Долой Гениалиссимуса! Долой Гениалиссимуса!" И так каждый день по восемь часов подряд.

— И вы это знаете и терпите? — спросил я изумленно.

— Ну, конечно, если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели, но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы.

— Слушайте, — сказал я потрясенный, — но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, нигде не идет, зачем они это делают?

— Ах, дорогуша, — устало улыбнулся Дзержин. — Вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать. А что из этого получится, им совершенно неважно.

Дзержин

Мы еще стояли, я смотрел на пучки проводов с голыми концами, как вдруг я заметил, что там, под самыми этими проводами довольно крупными буквами написано короткое слово: СИМ.

Я спросил Сиромехина, что это означает. Он усмехнулся и спросил, что я сам по этому поводу думаю. Я сказал, что не знаю. Я встречаю это слово уже не первый раз и иногда даже в самых неподходящих местах.

— А раньше вам это слово никогда не встречалось? — спросил Дзержин с каким-то скрытым лукавством.

— Встречалось, — сказал я. — Я знал одного писателя. У него было имя такое — Сим. Но, насколько я понимаю, это слово, — я указал на стенку, — к нему никакого отношения не имеет.

— А почему вы думаете, что не имеет? — спросил Дзержин.

— Ну, потому, что этого писателя здесь никто не знает.

— Вы так считаете? — Дзержин по-прежнему смотрел на меня со своей странной усмешкой. — А что вы скажете, если услышите, что этого вашего Сима здесь, наоборот, все знают и многие даже почитают и что вот эти люди, которых мы называем симитами, это и есть его сторонники? Что вы на это скажете? — повторил он настойчиво.

— Я скажу, что это чушь. Сим Симыч Карнавалов жил в прошлом веке.

— Ну да, — сказал Сирوماхин задумчиво. — А вот Маркс жил в позапрошлом веке, однако марксисты у нас еще не все вывелись.

При этом он поджал губы и сделал такую гримасу, как будто хотел показать, что столь продолжительным существованием марксистов он не то, чтобы недоволен, но удивлен.

Но меня-то как раз живучесть марксизма несколько не удивила. Меня удивило совсем другое.

— Извините, — сказал я Сирوماхину. — Я вас не очень понял. Вы хотите сказать, что в Москорепе есть много сторонников учения Сим Симыча Карнавалова?

— И не только в Москорепе, а и в Первом Кольце, — сказал Дзержин Гаврилович. — Я вам даже скажу, что симитов у нас гораздо больше, чем марксистов. Даже не то, что больше, а почти все люди, которых вы здесь вокруг себя видите, на самом деле скрытые симиты.

— А что они собой представляют? — спросил я.

— Если вам интересно, — сказал Дзержин, — могу вкратце рассказать.

Вот что я услышал от Дзержина.

Движение симитов зародилось еще при жизни Сим Симыча и моей. Впрочем, тогда это было еще не движение, а многочисленная, но разрозненная толпа поклонников. Потом возник маленький кружок школьников-старшеклассников, которые создали подпольную организацию. На следствии они отрицали какую бы то ни было связь названия своей организации с именем Карнавалова и утверждали, что аббревиатура СИМ расшифровывается как Союз Истинных Монархистов. Само собой, от этого кружка остались рожки да ножки, но тут же стали возникать другие круж-

ки, общества, объединения, и все они назывались СИМ, хотя расшифровывали это слово по-разному.

Высылая Карнавалова за пределы страны, тогдашние власти надеялись, что на этом движение и прекратится, но сильно ошиблись. Движение не только не прекратилось, но, напротив, достигло размаха, реально угрожавшего безопасности государства. Симиты собирались в кружки, произведения Карнавалова читали, изучали, конспектировали, переписывали и распространяли. Чтобы со всем этим покончить, службе БЕЗО (тогда она называлась еще КГБ) пришлось приложить очень большие усилия. В конце концов всех организованных симитов удалось разгромить. К настоящему времени практически все произведения Сима изъяты и уничтожены. Если, скажем, в пределах Первого Кольца кто-то, может быть, еще тайно хранит какие-нибудь книги Сима, то в Москорепе это совершенно исключено.

— Значит, вы все-таки с этим движением покончили? — выразил я надежду.

— Что вы! — горько усмехнулся Держжин и показал на стенку. — Вы видите, это же очень секретное помещение. Одно из самых секретных во всем Москорепе. А кто-то все же сюда проник, и кто-то это вот написал. Да это что! — сказал он, махнув рукой. И тут же рассказал мне совершенно невероятную историю.

Сравнительно недавно было замечено, что у комунян развилась мода употреблять слово "сим" кстати и некстати. Например, начинать всякие письма или заявления любого характера в такой форме: "Сим обращаюсь к вам с просьбой". Или "сим извещаю". И заканчивать их словами вроде: "За сим такой-то". Более современное слово "этим" почти совершенно исчезло из обращения. Когда Редакционная комиссия заметила это, она разослала во все редакции указания изымать слово "сим" из всех печатных материалов. Слово исчезло. Но вскоре внимание Редакционной комиссии и службы БЕЗО было привлечено к тому, что в книгах, газетных статьях, официальных заявлениях и личных письмах комуняне стали часто и в некоторых случаях совершенно не к месту употреблять такие слова, как СИМптом, СИМбиоз, СИМпатия, завиСИМость, проСИМ, ноСИМ, коСИМ, и одновременно появилось много неграмотных людей, которые стали писать СИМафор, СИМантика и даже СИМдром. Редакционной комиссии пришлось проделать большую работу по разоблачению и прекращению диверсий подобного рода.

— Но теперь-то уже все в порядке? — спросил я.

— Почти, — сказал Дзержин. — К сожалению, в нашем языке есть одно слово, которое не может отменить даже Редакционная комиссия. И это слово ГениалисСИМус. Вы понимаете, что происходит? Каждый человек, который устно или письменно употребляет слово ГЕНИАЛИССИМУС, одновременно пользуется и словом СИМ.

На мой вопрос, какую цель ставят перед собою симиты, Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России самодержавной или, как некоторые ее называют, Симодержавной монархии.

— Надо же! — сказал я. — Неужели еще сейчас, в двадцать первом веке, есть люди, которые верят в необходимость монархии?

— Еще бы! — согласился Дзержин с каким-то непонятным мне воодушевлением. — Монархическая идея очень даже жива и популярна. И вот если вы внимательно присмотритесь к нашим комунистам, вы прочтете в их глазах надежду на то, что когда-нибудь монархия будет восстановлена.

— Какие странные вещи вы мне говорите, — сказал я. — А кого же эти ваши симиты хотели бы видеть царем?

— А вы не догадываетесь?

— Нет.

Сиромахин подошел к двери, заглянул в замочную скважину и, убедившись, что там никто не стоит, приблизился ко мне и сказал:

— Сима Карнавалова.

— Карнавалова? — переспросил я удивленно. — Разве он не умер еще в прошлом веке?

— Видите ли, Христос умер две тысячи лет назад, однако люди до сих пор ожидают его возвращения.

Не успел я что-либо ответить, как дверь открылась и влетел взмыленный Смерчев. Он пошушукался с Дзержиным и объявил, что мы должны немедленно ехать в Кремль.

В Кремле

В Кремль мы прибыли в конце рабочего дня, примерно в половине шестого.

Мы шли по длинным и широким коридорам, устланным крас-

ными дорожками, через какие-то залы с огромными окнами и тяжелыми многоярусными люстрами, большими картинами и чьими-то бюстами, мраморными, а иногда даже и бронзовыми, в углах.

Многие двери охранялись. Когда мы проходили сквозь них, два автоматчика лихо брали на караул и щелкали каблуками.

Наконец, мы оказались в очень просторной комнате с большим зеленым столом посередине. Комната была украшена многими портретами. Слева портрет Гениалиссимуса во весь рост в мундире и в сияющих сапогах. Белые перчатки он держал в руках. Он как бы похлопывал ими по голенищу и смотрел на противоположную стену, с которой на него восхищенно смотрели Христос, Маркс, Энгельс и Ленин.

В этой комнате в углу за большим столом со многими телефонами и даже селектором сидела средних лет секретарша в форме полковника. Ответив на наши приветствия самой дружелюбной улыбкой, она скрылась за кожаной дверью и, тут же вернувшись, пригласила нас в кабинет.

Кабинет был большой, старинный, из прежней жизни. В нем была дорогая мебель, кожаные диваны и кресла и длинный стол для совещаний. Другой стол, письменный, с десятком телефонных аппаратов разного цвета стоял в дальнем углу и за ним под поясным портретом Гениалиссимуса, разворачивающего рулон "Правды", сидел представительный пожилой человек с совершенно лысым отполированным черепом и с маршальскими погонами на плечах.

Дзержин представил нас друг другу. Передо мной был первый заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО, Главный маршал Москорепа, Пятижды Герой Москорепа, Герой Коммунистического труда, Герой Социалистического труда Берий Ильич Взрослый.

Берий Ильич обнял меня, как родного, похлопал по плечу, сказал "Так это вы!" и спросил Дзержина Гавриловича, почему это я до сих пор у них в младших лейтенантах, когда мне по моим заслугам полагается быть генералом.

Затем он спросил, как идет подготовка к юбилею. Дзержин доложил, что подготовка идет полным ходом, трудящиеся вступают в соревнование, берут на себя повышенные обязательства, а Редакционная Комиссия готова выпустить массовым тиражом мою книгу, но...

— Вот об этом "но" мы сейчас и поговорим, — перебил маршал.

Он усадил меня в кожаное кресло, сам сел в другое, а Дзержин устроился на диване.

Маршал поинтересовался моим самочувствием и спросил, как мне здесь нравится.

Я еще раз осмотрелся и сказал, что в общем-то нравится, помещение красивое и просторное.

— Нет, — сказал Берий Ильич, — я спрашиваю не о помещении, а вообще как вам нравится у нас в Москорепе?

— И вообще, — сказал я, — ничего, нравится. Очень интересно.

— И погода нравится?

— Да, нравится. Замечательная коммунистическая погода. Солнышко светит и ни одного облачка.

— Кое-что мы все же умеем, — усмехнулся маршал.

— И книги читать умеем, — подхватил Дзержин.

Мне стало немножко не по себе.

— Конечно, — продолжал маршал, — в реальной жизни не все бывает так, как во сне, не все так легко удается. И коммунизм наш получился не совсем такой, как мы планировали. Маркс нас немного подвел. Ошибся.

— Всего на две стадии, — вмешался Дзержин. Он чувствовал себя в присутствии маршала совершенно раскованно.

— Ну да, — сказал маршал, — на две. В масштабе всемирной истории это не очень существенно, но для нас ощутимо. Ошибка Маркса состоит в том, что он обещал полное обнищание трудящихся при капитализме, а оно наступило...

— Наступает, — поправил Дзержин.

— А оно наступило, — повторил маршал сердито, — при коммунизме. И, конечно, человеку с юмористическим складом ума все это, может быть, даже смешно. У нас есть над чем посмеяться. И над короткими штанами, и над газетой, которая издается в виде рулона, и над нехваткой первичного продукта. Но хорошо ли смеяться над нищими? А, хорошо?

— Не хорошо, — признал я и очень смутился. — Но я же смеялся только мысленно.

— Да не только! — возразил Дзержин и покрутил головой.

— Нет, не только, — подхватил маршал и посмотрел на меня пристально. — Вот я, Классик Никитич, хотел с вами поговорить об искусстве. Это очень интересная и безграничная тема. Что такое искусство, для чего оно существует, откуда в нем такая странная и непонятная сила, этого ведь по существу никто не знает.

Вот вы, насколько я себе представляю, считаете, что искусство является всего лишь отражением жизни. Не так ли?

— Ну да, — сказал я. — В общем-то примерно так и считаю.

— А это совершенно неправильно! — вскричал маршал и, вскочив с кресла, забежал по комнате, как молодой. — Классик Никитич, я вам вот что хочу сказать. Послушайте меня внимательно. Ваша точка зрения совершенно ошибочна. Искусство не отражает жизнь, а преображает. — Он даже сделал руками весьма энергичные движения, как бы пытаясь изобразить ими преображающую силу искусства. — Вы понимаете, — повторил он взволнованно, — преображает. И даже больше того, не искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство. Вы вот смеетесь над нашими убеждениями...

— Что вы, Господь с вами, — сказал я поспешно. — Я бы никогда не посмел.

— Ладно, ладно, — поморщился маршал. — Вы все никак не можете понять, что нам о вас известно гораздо больше, чем вы могли бы себе представить. Но дело даже не в том, что именно мы знаем о вас. Наши знания обо всем гораздо глубже и обширней, чем были доступны людям ваших времен. И нам совершенно точно известно, что первичное вторично, а вторичное первично.

— Ну, это уж совсем чепуха, — сказал я неожиданно для себя самого. — Это какая-то метафизика, гегельянство и кантианство. На самом деле первичное первично, а вторичное вторично.

Вот сколько меня жизнь не учила, а язык за зубами держать не научила. Сколько раз внушали мне умные люди элементарное: пришло тебе что-нибудь в голову, не ляпай сразу. Подумай, стоит ли твоя мысль того, чтобы ее сразу выкладывать.

Мое незрелое высказывание подействовало на маршала и Держина самым решительным и, может быть, даже зловещим для меня образом.

Берий Ильич, ни слова не говоря, вернулся на место, сел и стал смотреть куда-то мимо меня. Держин смотрел на маршала. Оба они молчали, и молчание это тянулось довольно долго. Потом маршал провел рукой по лицу, как бы снимая усталость, и сказал тихо:

— Классик Никитич, вопрос о том, что первично и что вторично, обсуждению не подлежит. Первичное вторично, а вторичное первично. Вы можете сослаться на Маркса и на тех, кто вас в свое

время учил, что материя первична, а сознание вторично, но эти же ваши учителя сами себе противоречили. Требовали от людей сознательности, а от материального вознаграждения уклонялись. Теория противоречила практике. А у нас полное соответствие. Но давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Например о вашем романе. Недавно я его еще раз прочел от корки до корки. Ну, что вам сказать? Интересная работа. В вашем творчестве даже, я бы сказал, какой-то новый этап, к которому вы вряд ли перешли бы в Якутии.

Он опять посмотрел мне в душу, и мне опять стало не по себе. Вдруг он засмеялся и стал говорить в более теплом тоне:

— Вообще-то, я вам уже об этом сказал, роман довольно-таки злой. Вы как бы берете шило и колете в самое больное место. Но фантазия богатая. Читать во всяком случае не скучно. Честно говоря, я много смеялся, а иногда даже и плакал. Да, там вообще так, я бы сказал, смех сквозь слезы.

— Да, — поддержал его Дзержин, — эта вещь написана не просто для смеху.

— Да-да, — поддержал маршал Дзержина, — вещь серьезней, чем кажется с первого взгляда. Хотя надо сказать, что описанием теневых сторон жизни вы, может быть, злоупотребляете, смакуете их, наслаждаетесь ими.

— И много натурализма, — заметил Дзержин.

— Да, — сказал маршал, — по части натурализма перебор некоторый есть. Например, когда я читаю про эту вегетарианскую свинину, мне самому хочется вырвать, как это случилось с вашим героем.

— Помилуйте, — перебил я его. — Это не с героем случилось. Это со мной лично случилось. Я этого нигде не описывал, это, может быть, ваши агенты подсмотрели.

— Ну, не надо, — поморщился маршал, — не надо нам сказки рассказывать. Вы же неглупый человек и видите, что мы про вас все знаем. И вообще, что это вы эту свинину забыть не можете? Мы же вам дали все. Вам и яичницу подают, и ветчину, и паштеты, и икру всякую. Чего вам еще не хватает?

Но тут в кабинет влетела взволнованная секретарша и сказала маршалу что-то на ухо.

Берий Ильич тоже заволновался, вскочил на ноги и схватил трубку красного телефона.

— Да, — сказал он, — Взрослый на проводе. Так точно! Слушаюсь! Сейчас будем.

Он положил трубку и повернулся ко мне очень возбужденный.

— Нас вызывает Горизонт Тимофеевич.

— Кто? — удивился я.

— Горизонт Тимофеевич Разин, — объяснил маршал, все еще волнуясь, — является председателем Редакционной Комиссии и по существу, можно даже сказать и так, заместителем Гениалиссимуса на Земле. Слушайте, вы уж, пожалуйста, с ним не спорьте. Что он будет предлагать, на все соглашайтесь. В крайнем случае, потом мы что-нибудь отобьем. А ну-ка я на вас посмотрю. Вид у вас, конечно, так себе. Ну, да ладно. Поправьте воротничок и пойдем. А ты подожди нас здесь, — сказал он Дзержину.

Заместитель Гениалиссимуса

Мы опять шли по каким-то залам и переходам. Автоматчики вытягивались в струнку, щелкали каблуками и брали на караул.

Секретарем у председателя Редакционной Комиссии был пожилой генерал-полковник. Но суетился он, как сержант.

— Ага, это вы! — сказал он, нервно сунув мне руку. — Горизонт Тимофеич как раз после процедуры, так что он может с вами поговорить. Прошу вас.

Открыв дверь в кабинет, он первым туда вошел, но тут же остановился, пропуская нас с Берием Ильичем.

Наконец-то первый раз в Москорепе я увидел старого человека! Да еще какого!

Он сидел в инвалидном кресле не за столом, а почти посреди кабинета. Из-под кресла выходили, тянулись к задней стене и уходили в нее два — желтый и красный — шланга. Старик, сидевший в кресле, представлял собой полную развалину: голова набок, язык вывалился, руки висели, как плети. Из левого уха у него торчал толстый провод с микрофоном в виде рожка. Старик, кажется, спал. Но как только мы вошли, стоявшая рядом с ним медицинская сестра воткнула ему прямо сквозь брюки шприц. Он дернулся, проснулся, хотел выпрямить голову, но она упала на другую сторону. Глаза, однако, остались почти открытыми.

— Кто такие? — спросил он, разглядывая нас всех недовольно.

Маршал живо подкатился к нему, схватил рожок и, приложив его к губам, почтительно сообщил:

— По вашему приказанию Классика к вам привел.

— Ага, — сказал Горизонт, еле ворочая языком. — Клафика. Ну, подойди, Клафик, подойди-ка фюда.

Я приблизился и взял из рук маршала рожок.

— Здравствуйте! — прокричал я в рожок.

— А нифего, — прошамкал председатель, — нифего себя фуствую. Видифь, у меня тут два фланга. По волтому первифный продукт подается, а по крафному вторифный отфафывается, так что органивм дейфтуует.

Он хотел опять поднять голову и даже достиг в этом некоторого успеха, но не успел удержать ее, и она упала на грудь. Впрочем, сестра приблизилась к нему сзади, поставила голову вертикально и осталась ее придерживать.

Кажется, старик оживал все больше. В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне.

— Так вот ты какой! — сказал он с видимым одобрением. — Хороф, хороф. И фколько тебе годов-то?

— Скоро сте будет, Ваше Высокопревосходительство! — прокричал я в рожок.

— Молодой ефе, — заметил председатель. — А мне вот уве фто фетьере, а тове ефе нифего. А фто это ты в таком фине ходифь?

Я осмотрел быстро свою одежду.

— Если вы фином называете мои штаны, Ваше Высокопревосходительство, то я тут совсем не причем. Такие выдали. А я-то приехал в хороших штанах, в нормальных.

— Да что вы такое говорите! — сердито зашептал генерал-полковник. — Горизонт Тимофеевич говорит не “в фине”, а “в чине”.

— Да, — сказал Горизонт Тимофеевич Берию Ильичу, — надо его повыфить, он вфе-таки наф клафик.

— Будет исполнено! — прокричал Взрослый в рожок. — Майора ему дадим. Или даже полковника.

— Вафем полковника, — сказал Горизонт. — Генерала. Ты, крафавица, — попытался он поднять глаза к сестре. — Головку-то мою так не дервы. Когда я киваю, ты ее гемнофко так отпуфкай.

Но сестра на него не понадеялась и сама покачала его головой.

— Хорофо, — одобрил ее действия председатель. — Хватит. Знафит, ты фоглафен убрать там вфяких Фимов и таких вот профих?

Не зная, о чем он говорит, я оглянулся на Взрослого и увидел,

что тот мне оживленно подмигивает. Я опять ничего не понял и кивнул головой.

— Ну, и правильно, — сказал председатель, и сестра покивала его головой. — И хорофо. Вфе лифнее надо вфегда убирать, а не лифнее... — не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила его голову набок.

Я посмотрел на маршала, тот на генерал-полковника, генерал развел руками и сказал:

— Это все! Горизонт дал указание и теперь отдыхает.

Сестра взяла кресло за спинку и, подбирая шланги, покатила его в глубь кабинета. А мы трое, ступая на носках, вышли в приемную.

Книга, которую я не писал

— Уфф! — выдохнул из себя Берий Ильич и вопросительно посмотрел на генерал-полковника.

— Все хорошо, — улыбнулся тот. — Горизонт Тимофеевич был в очень хорошем настроении и замечаний сделал немного.

— Да, конечно, — согласился маршал. — Замечания вполне приемлемые.

То же самое он сказал и Держину, который встретил нас вопросом “Ну, как?”

— Так что вы все поняли? — спросил он меня. — Требования совсем небольшие: поменьше ненужной реальности и никаких Симов. Согласны?

— Слушайте, — закричал я. — Что вы ко мне пристааете? Что и где я должен поправить? О каком романе вы говорите? О каком Симе? Если вы имеете в виду Карнавалова, то я с ним был знаком и даже ездил к нему в Торонто. Но взглядов его я никогда не разделял, и письмо его нынешним вождям выбросил на помойку.

— Это мы знаем, — улыбнулся маршал и переглянулся с Держином. — А теперь выбросьте и его самого.

— Откуда? — спросил я.

— Из романа, дорогуша, — улыбнулся Держин.

— Да из какого романа? — спросил я устало. — Вы понимаете, что я никогда никаких романов о Карнавалове не писал.

Я опустился в кресло и достал сигарету. Мои руки дрожали, и когда я прикуривал, я никак не мог спичкой попасть в коро-

бок. Между тем в кабинете установилось какое-то странное, тяжелое и зловещее, я бы сказал, молчание.

— Ну хорошо, — сказал, наконец, Берий Ильич. — Вы так взволнованно и так убедительно говорили, что я вам почти поверил. Но есть же все-таки факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Хорошо. Ладно. Сейчас мне придется вам кое-что предъявить.

Он тяжело поднялся, подошел к сейфу и, загоразиваясь от меня плечом, стал крутить замок с шифром.

Сейф открылся. Маршал достал какую-то книгу в темной обложке и выложил передо мной:

— Узнаете?

Я взял в руки книгу и стал ее разглядывать. Прочел название — “Москва 2042 года”, потом перевел взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит моя собственная фамилия.

В этом не было бы ничего удивительного. Каждому автору приходится иногда держать в руках книги, которые он написал. Но в том-то и дело, что я, как мне помнилось, ничего подобного не писал.

— Ну, и что вы скажете? — услышал я голос маршала.

— Минуточку, — сказал я.

Я перевернул титульный лист и прочел выходные данные. Там стоял год 1986. Я уехал из Штокдорфа в восемьдесят втором. А в восемьдесят шестом я еще фактически даже не жил.

— Это какая-то несуразица, — пробормотал я и заглянул в начало книги. Там я нашел описание своего разговора с Руди о машине времени, посещения “Люфтганзы”, встречи с Букашевым. Все подробно и достоверно и, главное, в моей собственной манере.

Я ничего не мог понять. Я готов был представить, что за шестьдесят лет кто-то мог изучить все подробности и на основании донесений агентов и других архивных данных сочинить какой-нибудь подобный роман. Но чтобы удалось настолько проникнуть в мои мысли и так подражать моему стилю, в это уж я поверить не мог никак, потому что, между нами говоря, мой стиль просто неподражаем.

Пока я читал, оба деятеля БЕЗО, Берий и Дзержин, заглядывали мне через плечо, следили за моей реакцией и проявляли очень большое нетерпение. И как только я оторвал голову на секунду, чтобы обдумать прочитанное, Берий, не давая мне опомниться, тут же меня спросил, что я обо всем этом думаю.

— Это какой-то бред, — сказал я.

— Правда? — переспросил быстро Берий Ильич. — Правда, бред? А вы не могли бы рассказать об этом публично?

— Почему бы нет? Если вы мне организуете встречу с читателями...

— Ну, конечно, организуем, — перебил маршал. — Как вы видите, мы именно этим и занимаемся. Именно для этого создан Юбилейный комитет, проводится массовая кампания и даже готовится к изданию этот вот ваш роман. Но у нас есть к вам просьба, и на том же настаивает Редакционная Комиссия, — чтобы вы вычеркнули из него этого вашего Сима. Он несколько вашу книгу не украшает, а напротив даже делает ее такой, знаете, неуклюжей, тяжеловесной. Вычеркните его и все. Что вы думаете об этом?

Правду сказать, я об этом вообще ничего не думал. Потому что кроме отдельных фраз и страниц ничего еще не читал.

Я думал, что они, естественно, предложат мне сразу прочесть всю книгу, но они как-то засмутились, и по некоторым высказываниям маршала я понял, что они боятся давать мне мою собственную книгу, потому что, прочтя ее, я могу попасть под ее влияние. Правда, Дзержин тут же сообразил и сказал маршалу, что если я книгу прочту, попаду под влияние, но потом исправлю и опять прочту, то в результате я в конце концов попаду под благотворное влияние исправленной книги, а это хорошо.

Маршал подумал и сказал, что Дзержин, пожалуй, прав, возможно, мне даже стоит дать почитать мою книгу, и он попробует этого добиться. Может быть, ему удастся пробить этот вопрос через Верховный Пятиугольник, уговорить Редакционную Комиссию, ради этого он готов еще раз добиться приема у Горизонта Тимофеевича.

— Ну что вы! — сказал я. — Ну зачем же лишний раз тревожить старого человека из-за такой ерунды? Почему вы не можете без всяких пятиугольников и комиссий просто дать мне эту книжку хотя бы на одну ночь? Я прочту и сразу же вам верну.

Маршал посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Станный вы человек, — сказал он, подумав. — Это же печатное слово. У вас даже допуска нет... -- Какая-то мысль пробежала по его лицу. — Слушай, Сиромахин, — обратился он к Дзержину Гавриловичу, — зайди-ка к Матюхину. Он зачем-то хотел тебя видеть.

— Матюхин меня? — Дзержин посмотрел на маршала с сомнением.

— Зайди, зайди, — повторил тот нетерпеливо.

Дзержин вышел, и с маршалом сразу что-то случилось. Сначала он подкрался к двери, закрывшейся за Сиромахиным, и посмотрел в замочную скважину. Затем подбежал к своему столу, повыдергивал штепсели всех телефонных аппаратов, посмотрел с сомнением на потолок и поманил меня к себе.

— Слушайте, — зашептал он быстро, заталкивая меня в угол. — Я вам дам эту книжку на одну ночь. Но об этом никто не должен знать.

— Хорошо, — так же шепотом ответил я. — Я запрусь в кабесоте и буду читать там.

— Дзержину тоже ни слова. И никому вообще. И если вас с этой книгой где-то застукнут, вы не должны признаваться, что взяли ее у меня.

— А что я должен говорить? — спросил я весьма удивленно.

— Что угодно. Можете сказать, что вам удалось протащить ее сквозь таможеню. Можете сказать, что нашли в каком-нибудь паробусе или на мусорной свалке. Что угодно, но меня не выдавайте. Вы мне клянетесь?

— Клянусь! — сказал я торжественно. — Но я не понимаю, кто меня может схватить, кроме ваших людей.

— Ах, какой вы наивный! — махнул он рукой. — В нашей республике вообще не понятно, кто наши, а кто не наши. Ладно, берите и до завтра.

Я только успел запихнуть книгу за пазуху, как вернулся Дзержин и сказал, что к Матюхину не пробился, у него совещание.

— Ну не пробился, так не пробился, — беспечно сказал маршал и незаметно для Дзержина подмигнул мне. — А теперь вы оба свободны, — объявил он и протянул мне свою широкую ладонь. — Классик Никитич, очень был рад познакомиться.

У меня было странное ощущение, когда мы с Дзержином оказались на Красной площади. Такое ощущение, словно я вышел на свободу, а мог бы не выйти.

Дзержин вызвался меня проводить, и мы пошли наискосок через Красную площадь. Вечер был тихий и теплый, а улицы совершенно безлюдны. Кажется, за всю дорогу мы не встретили ни одного прохожего. Дзержин молчал и я тоже, обдумывая все то странное, что я сегодня увидел и услышал. Но у меня было такое ощущение, что сегодня мне должно открыться еще что-то такое необыкновенное.

— Слушай, — обратился я к Дзержину, машинально называя его на ты. — А почему все-таки вас так беспокоит Сим Симыч? Ну, допустим, вас тревожат какие-то его поклонники, эти самые симиты, но сам-то Сим наверняка давно уже умер. Если бы он был жив, ему сейчас было бы... сколько же?..

— Сто шестнадцать лет, — сказал Дзержин.

— Ну вот. Сто шестнадцать лет... Ну, бывают где-то дикие горцы, которые живут даже и дольше, но Сим, я уверен, давно уже умер.

Мы стояли перед входом в гостиницу, и Дзержин взялся за ручку двери, чтобы открыть ее для меня.

— Ты сначала прочти то, что у тебя за пазухой, а потом поговорим.

Роман

— Ну как, ознакомились? — спросил маршал, когда я вытащил из-за пазухи книгу, порядком помятую.

— Да, да, прочел, — сказал я.

Мы были в его кабинете одни, он велел секретарше, чтобы она никого не пускала и никого не соединяла по телефону.

— Ну и как? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

— По-моему, неплохо, — сказал я. — Совсем даже неплохо. Я бы даже сказал, хорошо, замечательно даже.

— Ну да, — согласился он, — роман получился, в основном, ин-

тересный. Ну, а вы его все-таки читали с критическим отношением?

— Ну, конечно, с критическим. А как же, — сказал я. — Я всегда и все читаю критически.

— Вот именно это я и хотел от вас услышать! — маршал оживился и забегал по комнате. — Понимаете, когда человек мыслит критически, тогда с ним можно договориться. Когда он мыслит некритически, тогда с ним договориться нельзя. И какие же вы недостатки нашли в вашем романе?

— Недостатки? — переспросил я удивленно. — Я не понимаю, о каких недостатках вы говорите. Я, когда пишу, я все недостатки сразу вычеркиваю и оставляю одни только достоинства. Правда, сейчас, читая роман, я заметил там в одном месте запятая стоит лишняя, но в этом целиком виноват корректор. Не понимаю, куда он смотрел.

Взрослый помолчал. Я тоже. Он вытер со лба пот. Я сделал то же движение, хотя у меня лоб был не потный.

— Вот вы так говорите, — сказал Берий Ильич обескураженно. — Но вы говорите неправильно. Таких произведений без недостатков не бывает. Ну вот давайте посмотрим.

— Давайте, — охотно согласился я.

— Ну, хорошо. — Он открыл книгу, пробежал глазами первую страницу. — Ну, начать хотя бы со вступления. Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно, то ли все, что вы пишете было на самом деле, то ли вы все это выдумали. А где правда?

— Ну вот, — сказал я озадаченно. — Откуда ж я знаю, где правда? Вы же сами говорите: вторичное первично, а первичное вторично. В таком случае вообще никакой разницы между выдуманной и реальностью не существует.

— Допустим, — легко согласился он и стал листать дальше. — А вот это?.. — он открыл страницу, на которой помещено первое упоминание о Сим Симыче... — Это ведь уж никуда не годится! — И выхватив из пластмассового канцелярского стаканчика остро отточенный карандаш, он решительно провел черту от левого верхнего угла страницы к правому нижнему.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал я. — Так не пойдет. Что это вы прямо так чиркаете, как будто это вам что-то такое.

— Ну как же, — сказал он, — ну как же? Ну зачем же вы этого вот Сима Симыча вывели? Ведь он нам, вы понимаете, совершенно не нужен.

Откровенно говоря, этот разговор стал мне казаться довольно дурацким, и я начал понемногу сердиться.

Я сказал:

— Я не понимаю, почему это вас так волнует. Я понимаю, что вашим комунянам хочется почитать чего-нибудь такого, кроме Гениалиссимусианы, но если уж вы согласились мой роман напечатать, то зачем же его корезжить?

— Не корезжить, а улучшить, — быстро перебил Взрослый. — Убрать из него все лишнее. Это же не только мое личное мнение. И комписы наши со мной согласны, да и сам Горизонт Тимофеевич, несмотря на свою исключительную занятость, вникал в это дело и настоятельно... Понимаете, настоятельно, — повторил маршал с явной угрозой, — просил вас обо всем хорошенько подумать.

Ух, черт! Вообще-то говоря, я человек отчаянный. Но когда мне угрожают такие люди, как этот маршал, я понимаю, что дело серьезное.

— Даже не знаю, как с вами быть, — сказал я растерянно. — Ну, хорошо. Дайте мне книгу еще на одну ночь, я еще раз посмотрю и...

— Ну вот и ладно, — обрадовался маршал. — Вот и договорились. Прочтите еще раз, посмотрите, подумайте, приходите завтра и все сделаем. Слушайте, у меня есть... — он подошел к двери, заглянул в замочную скважину, приложил ухо, вернулся... — У меня есть кое-что специально для вас. — Он долго возился с секретным замком, открыл сейф и извлек оттуда... Что бы вы думали? Ну, конечно, ту самую бутылочку водки "Смирнофф", которая у меня пропала после приземления в Москорепе.

Я, разумеется, ничего ему не сказал. Мы разделали эту бутылочку. И что интересно, даже эту мизернейшую порцию водки я выпил совершенно без всякого удовольствия. Я даже удивился и подумал, что, может быть, настоящим комунянином я еще не стал, но зато от алкоголизма, кажется, вылечился. Как будет рада моя жена, подумал я, чокаясь с маршалом.

.....

Эдисон Ксенофонович

Все эти дурацкие переговоры о переделке моего романа мне так осточертели, что я был очень рад приглашению Эдисона Ксенофоновича Кома-

рова, с которым мельком познакомился в Упопоте, посетить возглавляемый им Комнаком.

Я понял, что Эдисон Ксенофонтович большой человек, когда он прислал за мной не какой-то там зачуханный паровик, а настоящий лимузин, работающий на бензине. Да и шофер был не простой, а полковник.

За последним шлагбаумом дорога неожиданно нырнула в какое-то подземное сооружение. Проехав под землей метров двести-триста, мы опять остановились перед глухими воротами и незаметной калиточкой справа от них.

Войдя в калиточку, мы оказались в просторном холле с несколькими журнальными столиками, кожаными диванами, креслами и двумя-тремя искусственными пальмами в толстых кадучках.

Здесь нас и встретил сам Эдисон Ксенофонтович в белом халате. Перекинувшись несколькими словами с шофером, он сказал, что тот может быть свободен. А мне предложил совершить с ним, как он выразился, небольшую, но полезную прогулку.

Выйдя из холла, мы оказались на довольно-таки широкой подземной улице с рядами четырехэтажных домов, стоявших под общей крышей. Паромобильное движение на ней было, должно быть, запрещено, потому что люди передвигались кто пешком, кто на велосипедах. Все они, заметив моего провожатого, подобострастно ему улыбались или, напротив, пытались нырнуть за угол.

Многие узнавали меня, улыбались, подходили, просили разрешения пожать руку или протягивали какие-то бумажки для автографа.

Оказалось, что это целый подземный город. Улицы в нем прямые и разделяют город на одинаковые квадраты, как, примерно, на Манхеттене.

КОМНАКОМ, как мне объяснил Эдисон Ксенофонтович, это научный мозг Москорепа. Здесь работают самые лучшие ученые, собранные со всех концов страны. Здесь разместились 116 научно-исследовательских институтов, в которых разрабатываются все направления современной науки.

— Все институты мы обходить, пожалуй, не будем, — сказал Эдисон Ксенофонтович, — а вот в этот можно и заглянуть. Он создан благодаря вам.

— Благодаря мне? — удивился я и посмотрел на вывеску, на которой было написано: "Институт Извлечения Информации (ИНИЗИН)".

Это был поистине огромный институт с многими лабораториями. Мы посетили несколько из них, и в каждой целые бригады докторов и кандидатов наук колдовали над маленьким кусочком какой-то пленки. Рассматривали ее в микроскоп, просвечивали рентгеновскими лучами, окунали в химические растворы и кололи иглками.

В каждой лаборатории я спрашивал ученых, чем они занимаются, они смотрели на Эдисона Ксенофонтовича, тот весело хохотал и говорил:

— А вы догадаетесь.

Я напрягал все свое воображение, но без результата.

— Так и не догадались? — спросил он, когда мы опять очутились на подземной улице.

— Так и не догадался, — сказал я.

— А помните, вы привезли с собой вот такую вот квадратную черную штучку?

— Флоппи-диск? — спросил я.

— Ну да, можно назвать это и так. Мы эту штуку называем дискеттой.

— Но зачем же они ее разрезали?

— Ну как же. Они пытаются извлечь заложенную в нее информацию.

Я схватился за голову, а потом начал хохотать, как припадошный. Эдисон Ксенофонтович нахмурился и спросил, что это меня так развеселило. Все еще давясь от смеха, я ему объяснил, что флоппи-диск это такая маленькая штучка, которая вставляется в большую штучку, то есть в компьютер, но не в современный, а в старинный, какие были еще в мои времена. Причем эта штучка должна быть обязательно в целом, а не поврежденном виде. И вот если ее целую вставить в компьютер, он ее крутит и выдает текст или на экран, или прямо сразу может напечатать книгу.

— Вы не видели такие компьютеры? — спросил я его.

— Я лично видел, — сказал он. — А вот другие не видели. Потому что это оборудование устарело и давно снято с производства.

— Но в таком случае, — сказал я, — ваши ученые занимаются просто глупостью. Теми методами, которые они применяют, они из этих кусочков никогда ничего не извлекут.

— А им ничего извлекать и не нужно, — беспечно махнул рукой профессор. — Им нужно, чтобы был институт, директор, замдиректора, парторг, священник, начальник службы БЕЗО, руководители лабораторий. Из этих должностей они извлекают довольно много пользы. А извлекать информацию из пленки — это дело десятое. Как правильно заметил наш Гениалиссимус: "Движение — все, цель — ничто". Хорошо сказано, правда?

— Неплохо, — сказал я. — А вы тоже занимаетесь чем-то подобным?

— Я? — переспросил Эдисон Ксенофонтович и засмеялся. — Я занимаюсь чем-то более серьезным. Я руковожу всем этим комплексом. Но вообще я биолог, и у меня есть свой институт, который занимается созданием нового человека.

— Нового человека? — удивился я.

— Ну да, — подтвердил он, — нового человека. Удивлены?

— Очень! — сказал я. — Безумно интересно! А какого именно вы хотите вывести человека?

— Мы хотим вывести разные породы людей для разных целей. Вы сами можете припомнить, что в ваши времена делали культисты, волонтеристы, коррупционисты и реформисты. Ученых посылали перебирать картошку, кухарку заставляли управлять государством, работники БЕЗО норовили писать романы. Это было глупое антинаучное перераспределение кадров. Теперь все будет не так. Теперь мы для разных нужд будем выводить разные породы людей. Например, для промышленности и сельского хозяйства мы хотим вывести добросовестных рабочих и крестьян. Для этого мы берем и сочетаем передовиков производства, героев коммунистического труда, рационализаторов и изобретателей. Затем мы выводим людей со склонностью к военной службе, к спорту, ученых и управленческий аппарат.

— Скажите, — заинтересовался я. — А писателей вы тоже собираетесь выводить таким же образом?

— Натюрлих! — закричал он. — Но с писателями дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что писатели, как мы заметили, бывают обычно двух противоположных категорий. Иной обладает развитым художественным воображением, но весьма отстает в идейном развитии. Так вот мы хотим создать такого писателя, который совмещал бы в себе художественный талант с высокой коммунистической идейностью. Поэтому мы сочетаем не писателя с писательницей, а писателя с профессором марксизма.

— Ну, а о таком человеке, который сочетал бы в себе все выдающиеся качества, вы не думали?

— Ах! — сказал профессор и с досады махнул рукой. — Понимаете, такого человека прямым старым способом не сделать. Впрочем, я сейчас увлекся другим грандиозным проектом. Пойдемте ко мне.

Эликсир

Лаборатория профессора выглядела довольно, я бы сказал, обыкновенно. В углу скромный письменный стол. Над ним на стене большой портрет Гениалиссимуса в полной форме и во всех орденах. Сбоку висела показавшаяся мне довольно странной фотография. Два престарелых алкаша чокаются пластмассовыми стаканами.

Само оборудование лаборатории меня поначалу, правду сказать, особенно не заинтересовало. Там был какой-то большой сосуд из нержавеющей стали. В нем что-то, видимо, кипятилось. Из сосуда выходило множество каких-то разноцветных стеклянных трубок, соединенных с различного рода змеевиками. Было много приборов, показывающих температуру, давление и еще что-то. В конце концов вся эта система раздвигалась, и каждая половина заканчивалась одной трубкой и пластмассовым стаканчиком, то есть всего стаканчиков было два.

Этикетка на одном из них изображала розу, на другом череп с костями.

Бесцветная жидкость очень медленно капала в оба стаканчика.

— Любопытно, — сказал я. — Что-то вроде самогонного аппарата.

Кажется, я его очень насмешил своим суждением. Он так смеялся, что на глазах у него выступили слезы.

— Да, да, — сказал он, смахивая слезу. — Это и есть самогонный аппарат. Только гонит он не самогон, а эликсир жизни! Или, как я его назвал, НБГ — Напиток Бессмертия Гениалиссимуса.

Я так ошалел от того, что услышал, что по сути дела даже ничего не запомнил. Помню только, что профессор говорил мне, будто в организме человека есть какие-то два вида то ли какой-то жидкости, то ли чего-то еще, что он условно называл плазмой жизни и плазмой смерти. И что будто бы эти две плазмы между собой перемешаны и находятся в постоянной борьбе, причем плазма смерти постепенно плазму жизни одолевает. И вот главное было не только открыть, но и разделить эти плазмы, чего он, профессор, в конце концов и достиг.

— А теперь, — сказал он торжествующе, — посмотрите не эту фотографию и подумайте, кто на ней запечатлен.

Я еще раз посмотрел на фотографию со стариками. Один из них показался мне похожим на Гениалиссимуса. Разница между висевшим тут же

официальным портретом и лицом, изображенным на карточке, была огромной, но меня уже ничто не удивляло. А этот дряхлый и абсолютно лысый старикан с проваленным ртом... Я перевел взгляд на Эдисона Ксенофоновича.

— Ну да, — сказал я, — да. Некоторое сходство есть. Правда, очень отдаленное.

— Ну, если вы догадались, — усмехнулся профессор, — тогда взгляните в меня внимательно, не найдете ли вы во мне сходства еще с кем-нибудь.

— Эдик! — сказал я, неожиданно узнав в нем молодого биолога, с которым меня лет, примерно, восемьдесят тому назад в Доме журналистов познакомил Лешка Букашев. — Это ты?

— Это я, — сказал Эдик.

— Врешь, собака! — закричал я на предварительном языке.

— Падло буду, — на том же языке, улыбаясь, ответил Эдик.

Я все же не мог поверить. Я обошел вокруг него, посмотрел на него анфас и в профиль. Я даже пощупал его, но какие-то сомнения все-таки оставались.

— Скажи, — спросил я неуверенно, — а Гениалиссимус это... Лешка? Букашев?

— Ну, конечно, — кивнул он печально. — Разве ты сам не догадался?

— Мне не надо было догадываться, — сказал я. — Эта истина лежала прямо передо мной. Но мне не хватило воображения, чтобы ее принять.

— Вот в том-то и дело! — сказал он с таким видом, как будто я подтвердил какую-то выношенную им мысль. — В том-то и дело, что мы до сих пор не доверяем нашему воображению. Нам кажется, что есть какая-то объективная картина мира, которая никак не зависит от того, как мы на нее смотрим.

— Эдик, — перебил я его, — не надо мне это рассказывать. Первичное вторично, а вторичное первично, я это уже слышал. У тебя, в твоём хозяйстве, есть что-нибудь такое, чем промывают пробирки или колбы?

— Вообще-то я спиртного не потребляю, — сказал он раздумчиво, — но по такому случаю... Дома, наверное, что-нибудь найдется.

У Эдика

Квартира была тщательно убрана, но чувствовалось, что здесь живет холостяк. В одной из комнат размещалась довольно значительная библиотека, состоявшая не только из научных изданий, но и из прекрасной коллекции предварительной литературы от Пушкина до Карнавалова. И моя книга вот эта самая там тоже была. И пили мы там не что-нибудь, а настоящий французский коньяк разлива 2016 года. Причем, когда выдули первую бутылку, он извлек и вторую.

Мы сидели, не зажигая огня, но там, за окном, был какой-то фонарь. Слабый свет его, вливаясь в комнату, помогал разглядеть

угол стола, бутылку, а горбоносый профиль моего собеседника казался черным и плоским, как бы вырезанным из картона.

Мы продолжали говорить о замысле, вымысле и силе воображения, и Эдик меня своими рассуждениями так запутал, что я уже сам не видел разницы между реальностью действительной и воображенной.

Насколько я помню, его рассуждения сводились вот примерно к чему. Наш мир сам по себе есть плод Высшего Замысла. Бог замыслил этот мир, населил его нами и рассчитывал, что мы будем жить в соответствии с Замыслом. Но он не наделил нас способностью к пониманию Замысла, и мы стали вести себя не по задуманному, а как попало и даже вышли из-под контроля. То же самое происходит с писателем. Он создает воображаемый мир, населяет его своими героями, ждет от них определенных поступков, а они начинают вытворять черт-те что и в конце концов искажают то, что было задумано.

Я уже отвык от спиртного, захмелел довольно быстро и, может быть, поэтому все, что он говорил, казалось мне исключительно мудрым.

— Точно, — сказал я радостно. — Ты очень правильно говоришь. Именно так со мной и бывает. Я задумываю одно, а потом получается совершенно другое.

— Вот именно, — сказал Эдик. — Так же получилось и с нашим несчастным Гениалиссимусом. У него тоже был свой замысел. Он, когда вместе со своими рассерженными генералами пришел к власти, хотел установить здесь новый порядок. Стал бороться с коррупцией, бюрократизмом, выступать против неравенства. И самое главное, расставив этих самых генералов на все ключевые места, ввел принцип постоянной сменяемости и омоложения кадров. Генералы, пока не захватили власть, были с его программой согласны. Но когда захватили, их собственные замыслы стали меняться. Они хотели на своих местах сидеть вечно. А Гениалиссимус этого еще не понял и требовал от них работы, дисциплины, отчетов перед народом. А потом решил ввести еще и принцип равенства: от каждого по способности, всем — поровну.

— Ах, вот оно что! — сказал я, сразу все уловив. — И его окружение не могло этого перенести?

— Ну вот! — Эдик почему-то вдруг разозлился и хлопнул себя по колену. — Я не понимаю, почему ты считаешь себя писателем, если ты мыслишь так примитивно. То, что привилегированные

никогда не хотят отказываться от своих привилегий, это каждому дураку ясно. Для этого вовсе не надо проникать глубоко в человеческую психологию. На самом деле не только окружение Гениалиссимуса, а все общество в целом было раздражено его нововведениями. Дело в том, что принцип неравенства создает почву для самодовольства во всех слоях общества. Верхние довольны тем, что они получают больше средних, средние тем, что получают больше нижних...

— А чем же довольны нижние? — спросил я.

— Ты разве не встречал людей, которые упиваются тем, что они находятся в самом низу? Они всегда могут оправдывать свое неудачничество несправедливым устройством общества, своей исключительной честностью, скромностью и вообще необыкновенностью. Короче говоря, Гениалиссимус посягнул на святая святых общества. Занимая недоступное положение, он сильно продвинулся в своих начинаниях, но вызывал все большее и большее недовольство. Особенно, конечно, в среде бывших рассерженных генералов. И самым рассерженным из них был его ближайший друг — заместитель председателя Верховного Пятиугольника и председатель Редакционной Комиссии...

— Горизонт Тимофеевич? — спросил я.

— Именно он, — кивнул Эдик. — Он, конечно, не смог свергнуть Гениалиссимуса, потому что тот уже стал символом, объектом всеобщего поклонения, священной коровой, но было найдено более хитрое решение. Однажды, когда Гениалиссимус отправился с очередной инспекцией в космос, они решили его оттуда не возвращать. Пусть он там летает, мы будем на него молиться, ставить ему памятники, награждать его орденами, слать ему всякие приветствия и рапорты, а здесь, на Земле, будем распоряжаться по своему.

— Стоп! — остановил я его. — Ты мне сказки не рассказывай. Никакого Гениалиссимуса на самом деле не существует. Я его просто выдумал. Сидел-сидел, думал-думал, и придумал. Пусть будет такой вот Гениалиссимус, который там летает и шлет на Землю всякие указания, приветствия и поздравления. Понимаешь, я его сам просто выдумал.

— Возможно, — пожал плечами профессор. — Но это ничего не меняет, потому что вся существующая реальность есть плод чьей-то выдумки. Выдумка рождается из ничего, а затем воплощается в жизнь и проявляет стремление к саморазвитию. Но если уж ты

все это выдумал, то твой сюжет самое время поправить. Сим твой должен исчезнуть. Навсегда. Аннигилируй его любым способом. А потом можно аннигилировать и Горизонта. А Гениалиссимуса надо спустить на Землю...

Вот такой, примерно, разговор вроде бы произошел у меня с этим странным профессором. То есть теперь, после всего выше-сказанного, я уже не знаю, был ли разговор на самом деле, приснился он мне или примерещился в пьяном бреде. Если не приснился и не примерещился, и то, что мы говорили, правда, и все, что здесь со мной происходит, есть только плод моей выдумки, то почему же я не могу силой воображения закончить свои приключения и вернуться к себе в Штокдорф?

Я даже попробовал это сделать. Закрыв глаза, напряг все свое воображение, по-моему, даже впал в какое-то такое трансцендентальное состояние, даже вспотел весь. Снова разлепил веки и вижу: нет, я не в Штокдорфе. Но и не у профессора, а в своем гостиничном номере. А возле кровати валяются листки текста, выданного из книги. Я подобрал их и стал читать. Текст мне показался знакомым, как будто я его читал уже раньше. А может быть, даже сам и писал.

На полях, между прочим, я увидел много пометок, сделанных разноцветными карандашами. Пометки были, в основном, негативного свойства и довольно однообразны. Где-то было написано: "Нехорошо!" или: "Ну это уж слишком!!!" (так прямо там три восклицательных знака и было). Я стал эти листочки просматривать, зачитался и стал думать, может, где-то чего-то и слишком, но чего уж тут нехорошего? Наоборот, очень даже неплохо!

Анабиоз

Степанида прожила у Сим Семыча в Отрадном, под Торонто, больше двадцати лет. Все эти годы она аккуратно записывала свои наблюдения над жизнью в имени, называя хозяина имени или Батюшка, или просто Он с большой буквы. Записи ее со временем становятся короче, однообразнее и унылее. Иногда даже прорываются жалобы на то, что ее лучшие годы потрачены зря, и намеки на то, что хотелось бы когда-то возвратиться "домой".

Одно сообщение и вовсе лаконично: "Ничего нового, кроме того, что мы все стареем".

Все эти годы изо дня в день Батюшка неуклонно следует раз заведенному распорядку: подъем, молитва, пробежка вокруг озера, завтрак, рабо-

та, выездка на коне Глаголе, а затем опять работа, с короткими перерывами на обед и отдых, и только к вечеру, как всегда, заучивание новых слов из Даля.

Был только один (впрочем, довольно долгий) период оживления и надежд в Отрадном. Это когда московские вожди начали качуриться один за другим. В этот период Он сам вечерами выходил к гляделке, с удовольствием смотрел похороны и внимательно слушал все сообщения и комментарии по поводу кремлевских перемен и интриг.

Но все кончалось одним и тем же. Закопав одного старика, заглотики ставили на его место другого еще старее, и все шло своим чередом.

Последний всплеск надежды был у Батюшки, когда на смену немощным старикам пришел наконец вождь молодой и здоровый, с двумя высшими образованиями. Комментаторы по гляделке наперебой нового восхваляли, что умный и остроумный, костюмы заказывает только в фирме "Диор", читает в подлиннике Вольтера и тайком в церковь ходит. Этому-то вождю Батюшка направил секретное послание с указанием коммунистическую партию распустить и восстановить в России традиционную для нее монархическую форму правления.

Ответа он не получил, и вскоре стало ясно, что журналисты нового вождя сильно перехвалили. Костюмы от Диора он носит, но в церковь ходит навряд ли, а в подлиннике читает исключительно Ленина, да и то лишь цитаты, подобранные ему референтами.

Убедившись в этом, велел Батюшка выкинуть гляделку в мусор, перестал даже спрашивать, что там, в Москве, делается, и вернулся к неизменно своему труду.

С этого периода замечает Степанида в настроениях Батюшки перелом. Батюшка, теряя веру в свое предназначение, стал попивать. А последние дни вообще ходил очень задумчивый.

Однажды Степанида, заметив, что у Батюшки свет горит необычно поздно, подкралась к его открытому окну и услышала, что он говорил по-русски с каким-то человеком, которого называл мистер Ривкин.

— Я не понимаю, в чем заковыка, — говорил Сим Симыч с необычайной для него возбужденностью. — Масса лошади превышает человеческую, но надо же понимать и то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития и организм ее гораздо прощенашего...

Стеша стала догадываться о предмете разговора только когда нашла на столе у Батюшки ксерокопию статьи из научно-популярного журнала "Медикал ревью". Многие строки статьи были подчеркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные Батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах гарвардского профессора доктора Доналда Ривкина по охлаждению организмов высших млекопитающих. Там говорилось, что, как показали эти опыты, уже сейчас существует достаточно надежная методика охлаждения организмов, которые в состоянии анабиоза могут находиться сколько угодно времени (практически вечно). Говорилось и о первых опытах не только на обезьянах, но и на живых людях, которые, будучи безнадежно больны (обычно раком), согласились подвергнуться замораживанию, в надежде дожидаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни.

На этом, было сказано в листах из моей книги, сообщения Степаниды прерываются. Приложенная к ним справка сухо сообщала, что, выполнив боевое задание, Герой Советского Союза майор КГБ Степанида Макаровна Зуева-Джонсон вернулась на Родину, но по дороге из аэропорта в Москву погибла в автомобильной аварии.

Само дело на этом, однако, не кончилось. В книге были сообщения, по крайней мере, десятка агентов, которым было поручено выяснить, что же все-таки произошло с Карнаваловым. Некоторые агенты честно сообщали, что выяснить ничего не удалось. Другие передавали какие-то нелепые слухи. И только от одного пришла наконец вразумительная информация о том, что в клинике профессора Ривкина состоялся недавно очень громоздкий и сложный эксперимент по одновременному охлаждению трех человеческих организмов и одной лошади.

И дальше уже совсем что-то невообразимое: "С. С. Карнавалов, два его телохранителя и конь Глагол в состоянии анабиоза доставлены в Женеву и помещены на неограниченное хранение в один из сейфов швейцарского банка".

.....

— И вот там, в сейфе, — сказал мне утром, при встрече, Дзержин Гаврилович, — он лежит по сей день и ждет своего часа. Он ждет, когда коммунистическая власть рухнет и он, размороженный, въедет сюда на белом коне.

Творческий Пятиугольник

— Внеочередное заседание Творческого Пятиугольника объявляю открытым, — будничным голосом сказал Смерчев и вопросительно посмотрел на сидевшего рядом с ним Берия Ильича. Тот, положив подбородок на кулаки, смотрел куда-то мимо моего левого уха, своим видом показывая, что он здесь присутствует как посторонний и вмешиваться в работу Пятиугольника вовсе не собирается.

Смерчев сидел за своим столом справа от маршала. К торцу того же стола пристроилась Искрина с карандашом и блокнотом (именно она вела стенограмму). Остальные члены Пятиугольника — Пропаганда Парамоновна, Дзержин Гаврилович и отец Звездоний расположились за столом для совещаний. Я сидел через несколько стульев от Звездония, ближе к другому концу стола.

— Я думаю, — продолжал Смерчев, — мы будем вести наше заседание без лишних формальностей, по существу. Должен заметить, что у нас с нашим классиком отношения складываются не сразу, приходится преодолевать некоторые трудности. Я лично объясняю

это наше взаимонепонимание тем, что мы воспитывались и росли в разных социальных условиях. Мы этот фактор учитываем и проявляем много терпения и гуманизма. Мы встретили нашего гостя очень приветливо, поселили его в лучшей гостинице и даже ввели его в категорию повышенных потребностей, хотя он этого еще никак не заслужил. Мы собирались очень торжественно и всенародно отметить его столетие. Руководство КПГБ, Верховный Пятиугольник и Редакционная Комиссия при личном участии Гениалиссимуса приняли исключительное по своей смелости решение: несмотря на временный дефицит бумаги и на то, что у нас вообще не принято печатать книги, не имеющие прямого отношения к Гениалиссимусу, несмотря на все это, мы намеревались опубликовать произведение нашего гостя, но просили его внести некоторые сугубо необходимые исправления, исключить те места, без которых можно было бы легко обойтись. Для этой небольшой работы ему были предоставлены все необходимые материалы, с которыми он ознакомился. Не так ли? — Смерчев посмотрел на меня.

— Если вы имеете в виду главы из приписываемого мне романа, — сказал я, — то с ними я, да, ознакомился.

— Ну вы теперь все знаете, — сказал Смерчев. — Сим Карнавалов не умер, как вы предполагали вначале, он жив, хранится в швейцарском банке и ждет своего часа.

— Ждет, но не дождется, — заметил Звездоний, и все члены Пятиугольника засмеялись весело, но напряженно.

— Да, — уверенно подтвердил Коммуний Иванович. — Он своего часа не дождется, если, конечно, наш гость все-таки подумает и пойдет нам навстречу.

— У меня есть вопрос, — сказал я.

— Пожалуйста, — разрешил Смерчев.

— Скажите... — я посмотрел на Звездония и как-то машинально встал. — Вот то, что я там прочел в этом романе, подтверждается какими-нибудь независимыми документами?

— Разумеется, подтверждается, — сказал Дзержин Гаврилович и, раскрыв лежавшую перед ним зеленую папку, стал перебирать какие-то бумажки. — Это подтверждается донесениями майора Степаниды Зуевой-Джонсон и счетом за телефонный разговор, состоявшийся между Карнаваловым и профессором Доналдом Ривкиным.

— Слушайте, ну что это за глупости! — сказал я, занервничав. — Ведь вся эта чепуха, на которую вы ссылаетесь, все эти донесе-

ния, и телефонные счета, ведь вы это все опять-таки взяли из того же романа. Но это же роман, художественное сочинение, иначе говоря, это же просто выдумка.

— Довольно злостная выдумка, — заметила молчавшая до сих пор Пропаганда Парамоновна и посмотрела на маршала.

— Вот вы говорите, выдумка, — сказал Смерчев, — а вот благодаря этой вашей, так сказать, выдумке симиты в нашей республике ведут себя все более вызывающе. Не далее как вчера, например, неизвестными злоумышленниками прямо под памятником Научных Открытий Гениалиссимуса была наложена огромная куча вторичного продукта и к ней была приложена записка: "Наш подарок Гениалиссимусу".

— О Гена, какое кощунство! — воскликнул отец Звездоний.

— И по размеру кучи, — продолжал Смерчев, — ясно, что это действовал не какой-нибудь одиночка, а целая организация. И, само собой, записка была подписана известным словом из трех букв. Ну ладно, не будем затягивать наш разговор. Я только хотел бы сказать нашему гостю (я заметил, что он избегает именовать меня Классиком), мы очень хорошо понимаем, что исправлять уже написанную книгу и делать лишнюю работу не хочется. Но это очень нужно. И вот мы все... не только я лично, но и другие члены Творческого Пятиугольника... очень вас просим: вычеркните вы этого, который там у вас ездит на белом коне. Это будет лучше и для вас, и для нас. Ну, что вы так за него уцепились? Чем он вам так уж дорог?

Ну, что мне с ними делать?

Я поднялся и стал нервно ходить по комнате.

— Господа комсоры, — начал я, стараясь быть как можно более убедительным. — Поверьте мне, я ничего плохого против вас не замышляю. Я хотел бы сделать все, как вы хотите. Вчера, перечитывая некоторые страницы романа, я уже взял ручку и хотел, искренне хотел Сим Семыча вычеркнуть...

— Ну и что же вам помешало? — насмешливо поинтересовалась Пропаганда Парамоновна.

— Натура помешала, — сказал я. — Вот, понимаете, вижу слово "Сим", нацеливаюсь на него, а рука просто не поднимается. И кроме того, так же просто он не вычеркивается. Если вычеркнуть его, значит надо вычеркнуть и Степаниду, и лошадь, и доктора Ривкина.

— Ну, и вычеркните их всех, — закричал Смерчев.

— Но вы же понимаете, что тогда никакого романа не получается. Получается какая-то чепуха. И вообще вы меня просто не понимаете. Да если бы я умел так корезить свои романы, мне бы к вам и ездить незачем было. Я бы еще тогда, в социалистические времена, гонорары получал мешками. Но я тогда этого не умел и сейчас не умею.

В кабинете наступило тяжелое молчание. Участники заседания переглядывались, а Коммуний Иванович расстегнул и опять застегнул верхнюю пуговицу гимнастерки.

Вдруг Пропаганда Парамоновна вскочила на свои короткие ножки, подкатилась ко мне сзади, обняла меня и своими большими грудями прижалась к моим лопаткам.

— Ну, пожалуйста, ну, миленький, — забормотала она сладеньким голоском, — ну, что ж ты такой упрямый, ну, что ты противишься, прямо, как осел какой-то. Ну, пожалуйста, помоги нам, я тебя прошу. Как женщина тебя умоляю.

Она вдруг опустила на колени, обхватила мои ноги руками...

— Ну, миленький, ну, хорошенький...

Я вдруг разволновался, вскочил на ноги, уперся руками в ее колючее темя и стал отталкивать.

— Да что вы! — сказал я. — Да что это вы такое устраиваете? Да как вам не стыдно!

— Позорник! — вдруг услышал я голос Звездония. — Он еще говорит о стыде! Негодяй! Ты посмотри, кто перед тобой стоит на коленях! Женщина! Мать! Генерал! А ты... Да я тебе сейчас всю морду в кровь разорву!

Маршал Взрослый вдруг встал и вышел.

И я заметил, что сразу все присутствующие не то, чтоб облегченно вздохнули, но расслабились. Дзержин вскочил и подбежал к Звездонию.

— Вот что, — сказал он и заходил кругами по комнате. — Наша дискуссия с Классиком зашла слишком далеко. Мы требуем от него чего-то, он нас не понимает, а почему?

— А потому что враг, поэтому и не понимает, — сказала Пропаганда.

— Да, вероятно, поэтому, — печально улыбнулся Смерчев.

— Ну зачем же так! — хлопнул себя по ляжке Дзержин. — Зачем сразу уж враг? Зачем кидаться такими словами? Я лично как работник БЕЗО привык искать в людях хорошее, самое лучшее, что в них есть. Мы должны нашего Классика попытаться понять.

Все дело в том, что он человек творческий. Ему нельзя просто приказывать сделать то-то и то-то. Мы должны предложить ему широкий выбор, чтобы размах был для творчества. Ну, допустим, не хочет он указать местонахождение сейфа. Ладно, не надо. Не хочет вычеркнуть своего героя, это можно понять. Но послушай, дорогуша, — обратился он уже лично ко мне. — Ты ведь можешь сам что-нибудь придумать. Допустим, ты не хочешь вычеркивать своего этого. Но ведь можно сделать, что он умер, и все. Допустим, его заморозили, в сейф положили, а там дырка и он разморозился. Короче говоря, всякие варианты могут быть. Тебе лучше видно, ты ж художник...

— Нет, — сказал я, чувствуя, что минута слабости прошла. — Нет, такого не будет. И вообще, раз вы так со мной разговариваете, я с вами никаких дел больше иметь не хочу. Не надо мне ни юбилеев ваших, ни почестей. Я вот только дождусь своего космоплана и уеду к себе обратно в Штокдорф.

— Без визы? — зажимая нос, с любопытством прогнусавил Звездоний.

— Без какой еще визы? — спросил я настороженно.

— Ну как же, — улыбнулся Смерчев. — У нас же существуют определенные правила пересечения границ. У нас без визы нельзя. У нас даже для того, чтобы выехать в Первое Кольцо, куда-нибудь, понимаете, допустим, в Калужскую область, и то виза нужна.

— Так это, — махнул я рукой, — касается ваших комунян. А я не только не комунянин, я даже советского гражданства вот уже шестьдесят лет с лишним лишен. И вообще я не ваш.

При этих моих словах все члены Пятиугольника как-то странно переглянулись, а Коммуний Иванович улыбнулся, широко развел руки и, называя меня моим человеческим именем, удовлетворенно сказал:

— Нет, Виталий Никитич, вы наш. Ведь мы вас реабилитировали.

.....

Гостииница Социалистическая

— Куда ты меня привез? — спросил я шофера.

— Куда приказали, — отвечал он. — Вы теперь здесь жить будете. — Он указал мне на длинное приземистое здание, и пока я

разглядывал это здание, включил скорость и укатил, обдав меня клубами пара.

Здание представляло собой что-то вроде барака. Все окна были совершенно темны. Над дверью тускло отсвечивала ободранная вывеска:

ГОСТИНИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

Прямо напротив гостиницы был какой-то пустырь, а справа тянулся высокий железобетонный забор с колючей проволокой наверху, из чего я заключил, что нахожусь на самой окраине Моско-репа.

Постояв в некотором недоумении, я решил войти в гостиницу и толкнул дверь, которая с ужасным скрипом открылась, когда я надавил на нее плечом.

В нос сразу шибануло запахом мочи.

— И как это вы в такой вонище живете? — спросил я пожилую женщину, младшего лейтенанта. Она сидела возле тумбочки, на которой слабо светила коптилка, сделанная из консервной банки.

— А вам что нужно? — спросила младший лейтенант.

Я ей сказал, что меня перевели сюда из гостиницы Коммунистическая.

— Как фамилия?

Я думал, что, услышав мою фамилию, она тут же придет в восторг и попросит автограф, но ничего подобного не случилось. Она долго мусолила какую-то грязную книгу и водила по строчкам скрюченным пальцем. Отыскав нужное, она взяла с тумбочки связку ключей и коптилку, повела меня куда-то в глубь коридора и, открыв дверь № 14, сказала:

— Вот ваша комната.

И тут же ушла.

Я пошарил по стенке в поисках выключателя. Никакого выключателя не было, как не было, впрочем, и лампочки. Но луна светила достаточно ярко, и я разглядел узкую железную кровать, стоявшую в углу у забранного решеткой окна, и покосившуюся табуретку. Кровать была покрыта суконным одеялом, поверх которого лежала подушка, набитая, как я понял, трухлявой соломой. По-моему, ничего больше в комнате не было, не считая пластмассового горшка, который я нашел в углу возле двери.

Откровенно говоря, мне все это крайне не понравилось, но я же знал, что за мое упрямство мне придется как-то платить,

и решил, ну и черт с ними, поживу и здесь. Хорошо еще, что дали отдельный номер, а не койко-место в общей комнате, где потребители "свинины вегетарианской" наверняка не только храпят.

Под одеялом, разумеется, никакой простыни я не нашел.

Ну что было делать? Я выставил ботинки за дверь, а дальше раздеваться не стал и лег поверх одеяла.

Я так устал, что заснул немедленно. Проснулся я от того, что меня грызли какие-то насекомые.

"Скорей, скорей отсюда!" — сказал я себе самому и выскочил в коридор. У меня, конечно, было подозрение, что ботинки мои я найду вряд ли начищенными, но их там и вовсе не оказалось.

Дежурная была уже другая, в звании старшины. Когда я ее спросил про туфли, она слегка удивилась, а потом объяснила, что за вещи, выставленные в коридор, администрация не отвечает. Этого следовало ожидать. Я спросил у нее, где тут у них кабесот, она сказала, что никаких кабесотов в гостиницах этого класса не бывает, а накопитель продукта вторичного находится у меня в номере. Она имела в виду, очевидно, горшок.

Мне, понятно, пользоваться этим сосудом не очень хотелось, но ничего не поделаешь, я вернулся в номер. Интересно, что кусок газеты метра в два с половиной там все-таки был. Развернув этот кусок, я сразу увидел крупный заголовок: "ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО". Как я сразу догадался, речь в статье шла обо мне, хотя имя мое ни разу не было упомянуто.

Разумеется, мне и раньше приходилось читать подобную критику, но раньше я был, может быть, более толстокожий и не принимал все так близко к сердцу, а теперь прочитанное меня глубоко ранило. В статье было сказано, что некий отвратительный тип с давних времен ступил на путь критиканства и оплевательства всего, что нам дорого. Что живя во времена развитого социализма, он не видел ничего хорошего в поступательном движении предкоммунистического общества вперед и по заданию разведок Третьего Кольца клеветнически оплевывал все, что видел. Своей, с позволения сказать, деятельностью он заслужил самое суровое наказание, но, благодаря попустительству тогдашних распоясавшихся коррупционистов, сумел избежать возмездия, скрывшись в Третьем Кольце, где в угоду своим заокеанским покровителям с усердием облаивал страну, которая его растила, кормила, поила, одевала и обувала. И вот он снова появился у нас. Наше общество простило отщепенцу его прежние преступления.

Мы надеялись, что за шестьдесят лет пребывания в Третьем Кольце он осмотрелся, одумался, понял принципиальную разницу между коммунизмом и миром, где трудящиеся дошли до такой нищеты, что даже вторичный продукт вынуждены ввозить из-за границы. Надеясь на это, Верховный Пятиугольник принял решение о полной реабилитации отщепенца. Мы встретили его с распростертыми объятиями, но, как говорится, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Этот потерявший всякую совесть лакей международной реакции и на нашу жизнь периода зрелого коммунизма смотрел сквозь черные очки, все ему не нравилось настолько, что он не отличал прекомпита от кабесота. Наше общество, как известно, самое гуманное в мире. Но с теми, кто нарушает его законы и нормы поведения, оно поступает сурово.

Заканчивалась статья призывом к комунянам перед лицом моей провокации проявить собранность, бдительность, еще теснее сплотиться вокруг партии, Верховного Пятиугольника, Редакционной Комиссии и лично Гениалиссимуса и давать решительный отпор всяким враждебным вылазкам.

Да, мне было очень неприятно это читать. Мне даже противно было использовать эту газету для той цели, ради которой она издавалась. Но не имея под рукой ничего более подходящего, я все-таки ее употребил и очень расстроенный вышел в коридор.

Бойкот

Дежурная у тумбочки штопала нитяной чулок, натянутый на какую-то чурку. Я спросил ее, где можно умыться.

— Потребности в умыве не удовлетворяются, — сказала она вполне грубо.

— А завтракательные потребности где-нибудь удовлетворяются? — спросил я довольно ехидно.

— Прекомпит за углом, — ответила она, не подняв головы кочан.

Я вышел на улицу. Асфальт за ночь остыл, и моим изнеженным и необутым ногам было холодно. А кроме того попадались всякие камушки, мелкие осколки пластмассы и идти было просто больно. Подгибая пальцы, я кое-как доковылял до прекомпита.

Очередь была небольшая, человек сорок. Меня удивило, что

так мало людей, но тут же я догадался, что нахожусь в Третьей Каке, где живут в основном комуняне самообеспечиваемых потребностей. Значит, эти, которые в очереди, приехали сюда из центра. А может быть, это вообще были даже не комуняне, а приезжие из Первого Кольца, потому что никто из них меня не узнавал и никто не просил автографа.

На стенке у дверей было вывешено меню. Я прочел его. Слава Богу, свинины вегетарианской не было. Там значилось только два блюда: каша рисовая из пшена и чай из дубовых листьев "Дубравушка". Я подумал, что, может быть, это то, что я могу употребить без особого риска для своего желудка. Но рядом с меню висело уже знакомое мне объявление, что комуняне удовлетворяются только по предъявлении документа о сдаче продукта вторичного.

Я побежал назад в гостиницу. Но мой горшок оказался совсем пустым и даже чисто вымытым. Мне было неловко, но все же я обратился к дежурной и, запинаясь от смущения, спросил, не знает ли она, куда делся мой продукт, оставленный в номере.

— За пропажу вещей, оставленных в номере, администрация ответственности не несет, — сказала она, не глядя на меня, и я понял, что мой вторичный продукт украла именно она.

Что же теперь получалось? Не имея вторичного продукта, я не могу получить первичный, а не получая первичный, не могу произвести вторичный. И значит, что же мне, с голоду помирать?

Тут у меня надо сказать, мелькнула мысль, что, может быть, здешние идеологи правы: вторичный продукт первичен, а первичный вторичен.

Что же мне было делать?

Я спросил у дежурной разрешения позвонить.

— Телефон только для служебных потребностей, — отрезала она, не глядя.

Я опять вышел на улицу, рассчитывая позвонить из автомата, тем более, что автоматы в Москорепе все совершенно бесплатны.

Один автомат у входа в гостиницу не работал. У второго была сорвана дверь и перерезана трубка. В третьем, за углом, трубка имела, но стекла были выбиты, и я не вошел, боясь пропороть ноги.

Следующий автомат был примерно через квартал, в нем были и дверь, и трубка, не было только звука.

Улицы здесь назывались как-то по-дурацки: Окраинная, Остаточная и Информационная. Движения почти не было, но шум был. На балконах бляели овцы, хрюкали свиньи. Одну свинью где-то резали, и она визжала ужасно.

По Информационной улице я дошел до станции метро Коммунистическая Конечная. Здесь было восемь автоматов. Из них семь не работали. В восьмом стояла средних лет женщина и разговаривала. Я стал за ней, невольно прислушиваясь к разговору.

— Да что ты, Дусь, — говорила она, — да какая там жизнь! Никакой жизни нету. Чаво? Да нет, говорю, никакой жизни нету. Ну да, нет никакой. Ага, так никакой вот и нет. Да ты что! Это ж разве жизнь? Это не жизнь, а одна морока. Да кто жалуется? Никто и не жалуется. Ты ж сама спрашиваешь, что мол, как жизнь, а я тебе, значит, так именно и отвечаю, что никакой жизни нету. Какая ж тут жизнь, если ее вовсе нету.

Я понял, что этот разговор только в самом начале, и постучал в стекло. Я думал, что женщина будет вести себя хамски, но она, увидев меня, тут же прекратила разговор и, пообещав Дусе позвонить попозже, тут же вышла из будки и нырнула в метро.

Я схватил еще теплую и влажную трубку и приложил к уху, ожидая услышать вожделенный гудок, но гудка не было.

Тут я увидел, что какой-то человек с парусиновым портфелем говорит в будке через одну. Я кинулся к этой будке. Говоривший как раз при мне с кем-то попрощался и попросил передать привет Планете Семеновне.

Когда я взял только что повешенную трубку, она тоже молчала. Тогда, разозлившись, я так хватил этой трубкой по ящичку автомата, что она разломилась на две половины.

Оборотившись, я вздрогнул. Передо мной стоял мордатый внубезовец. Я подумал, что сейчас придется объясняться, почему я сломал трубку, но внубезовец, не обратив на меня никакого внимания, вошел в будку, как-то приложил одну часть трубки к другой, набрал номер и тут же заговорил.

Когда он вышел из будки, я схватил ту же трубку. Но она молчала.

Сомнений не оставалось. Со мной затеяна та идиотская игра, с правилами которой я достаточно близко ознакомился в своей прошлой жизни. Правда, я должен был отдать должное службе БЕЗО — за последние шестьдесят лет она кое-чему научилась.

В те времена они не успевали выключать вовремя все телефоны. Сейчас успевают.

Опыт — великое дело. Обернувшись вокруг своей оси, я сразу заметил парочку, которая обнималась на лавочке под памятником “Друг детей” (Гениалиссимус с девочкой на руках). Обратил я внимание и на пожилого комсора в соломенной шляпе, который читал на стене газету, на шофера, возившегося под открытым капотом, и на молодую мамашу, прокатившую мимо меня детскую коляску. Коляска, между прочим, (я успел сунуть в нее нос) была, конечно, пустая.

Что делать?

Бойкот (продолжение)

Жизнь превратилась в сплошной кошмар. В гостинице находиться было невозможно. Душно, насекомые и, кроме того, нет света, поскольку у меня, как мне сказала дежурная, нет осветительных потребностей. Свет мне, действительно, ни для чего не был нужен, обычно я им пользуюсь для чтения, но читать было нечего, кроме этой мерзкой газеты, куски которой мне регулярно подкладывали, несмотря на то, что потребность в ней у меня совершенно исчезла. В каждом куске я находил что-нибудь, имеющее ко мне самое прямое отношение: “Человек из прошлого”, “Не в ладах со временем”, “Осторожно: провокация!”, “Не помнящий родства”, “Иуда из Штокдорфа”, “Свинья под дубом”...

Целыми днями я мотаюсь по городу без всякого смысла только потому, что не могу находиться в гостинице. Жрать, между нами говоря, хочется настолько, что даже вегетарианская свинина снится мне иногда как самое вожаденное блюдо. Но в прекомпит без справки не пускают.

Вот говорят, материя никуда не исчезает. А я вижу, что материя, из которой состою я, очень даже исчезает. Проходя мимо какого-то окна, я глянул мимоходом на свое отражение и даже испугался. Я выглядел, как идеальное пособие для анатомических занятий.

Интересно, что комуняне меня совершенно не узнают. Еще недавно они все подряд со мной здоровались и кидались ко мне за автографами. А теперь они меня просто не видят, не замечают, словно я уже и вовсе стал не материален. А когда я обращаюсь

к кому-то из них и спрашиваю, как куда-то пройти или который час, они проходят мимо, словно не слышат.

Мои страдания стали еще большими, когда погода начала портиться. Ночи похолодали, а асфальт по утрам был влажен от росы. И хотя я уже привык ходить босиком, но все-таки ноги мерзли. Зато днем стало приятнее. Не жарко и не холодно. Небо все чаще стало заволакиваться облаками, и коммунане, как я заметил, смотрели на облака с какими-то непонятными мне надеждами.

Признаваться в своей слабости всегда неудобно, но будучи исключительно искренним человеком, я вынужден сообщить, что моя идейная стойкость не выдержала свалившихся на меня испытаний. Я всегда завидовал людям, проявлявшим преданность своим убеждениям несмотря ни на что. Среди коммунистов бывали люди, которые оставались верны своим идеям даже после многолетнего тюремного заключения, даже когда им в задницу засаживали раскаленное железо, а глотку заливали свинцом. А я оказался таким слабаком, что уже через несколько дней голода все свои туманные идеалы, свои незрелые убеждения и любые секреты (если б я их знал!) готов был продать за чечевичную похлебку. Однако, никто мне такой сделки не предлагал. Агенты Третьего Кольца так законспирировались, что их не было видно, а симиты, о которых я столько слышал, тоже ни в какие контакты со мной не вступали.

Хотя их существование как-то проявлялось.

Бродя по городу и думая только о своем желудке, я, тем не менее, замечал, что что-то такое происходит. Люди собираются какими-то группками, о чем-то шепчутся, как-то странно между собой переглядываются. И слово СИМ мне попадалось все чаще и чаще. Я видел его на заборах, на асфальте и даже на зданиях официальных учреждений. Оно было написано иногда мелом, иногда углем, а на одной телефонной будке я видел это слово, написанное вторичным продуктом.

Однажды, проснувшись утром, я обнаружил слово СИМ у себя в номере. Оно было нацарапано чем-то острым на противоположной стене.

Я, естественно, немедленно побежал к дежурной, привел ее в номер, показал надпись и сказал, что это сделал не я.

— Разберемся, — сказала дежурная и побежала кому-то докладывать.

Что она кому доложила и какие были сделаны выводы, я так

и не узнал, потому что следующей ночью случилось событие, которое затмило все, что со мной происходило до этого.

Даллас

Уже вечерело, когда, измученный бессмысленными передвижениями по Москорепу, отвергнутый здешним обществом, голодный, несчастный, со сбитыми в кровь ногами, я медленно, как больной, брел к своей проклятой гостинице. Ну что мне делать? — думал я. — К кому обратиться, чтоб меня выпустили отсюда, если никто не хочет со мной разговаривать?

Я поднял голову и только сейчас заметил, что все небо сплошь затянуто плотными облаками. Пожалуй, сквозь такой покров даже Гениалиссимус разглядеть меня не сумеет. Да и я его не увижу.

— Думаете, сегодня чего-то будет? — услышал я рядом с собой молодой голос.

Удивленный, что со мной хоть кто-то заговорил, я оглянулся и увидел рядом с собой щуплого комсора, который, слегка отвернув козырек кепки, тоже пялился в небо.

— Что будет? — спросил я его.

— Как это, что будет? — Оторвавшись от созерцания облачного покрова, комсор перевел взгляд на меня, и я узнал в нем подкомписа Охламонова из Безбумлита.

К сожалению, он тоже меня узнал.

— Ах, это вы! — сказал он растерянно. и вдруг повернулся и стал быстро от меня удаляться.

Я не пытался его остановить. В этом городе я привык уже ко всему.

Пока я добрел до своего жилища, уже совсем стемнело. Я прошел мимо сидевшей у коптилки дежурной, сказал ей на всякий случай "слаген", но она, как и следовало ожидать, не ответила.

Потом я сидел на своей кровати, предаваясь мыслям самого мрачного свойства.

Пожалуй, это был во всех отношениях самый темный вечер за все время моего пребывания в Москорепе. Ни одна звезда не проникала сквозь облака, и весь коммунистический город утонул в темноте, как в чернилах. Сколько ни выглядывал я в окно, других окон не видел, они не светились. Не видно было ни уличных фонарей, ни сполохов от фар городского транспорта.

Только где-то в отдалении на фронтоне официального здания подсвеченный с обратной стороны сиял большой портрет Гениалиссимуса и мерцало золотом его мудрое изречение:

“Вековая мечта человечества сбылась!”

Жалкие остатки этого излучения, рассеявшись по пути, проникли в мой бедный номер, делая едва различимыми отдельные предметы: изгиб железной спинки кровати, табуретку, два пустых пластмассовых крючка вешалки на стене.

В чем собственно дело? — допытывался я у самого себя. — Почему я здесь должен остаться? Почему и ради чего обрекаю я себя на явную гибель, на то, что никогда не вернусь в милый моему сердцу Штокдорф и никогда не увижу свою жену и своих детей? Только потому, что моя мерзкая натура требует от меня каких-то бессмысленных подвигов, не дает вычеркнуть то, что я сам написал? Почему я всю жизнь цепляюсь за свои выдумки, образы и слова, обрекая себя и свою семью на ужасные неприятности? Да неужели мне все эти фантазии действительно дороже собственного благополучия и даже жизни?

Нет! — перебил я себя. — Конечно, нет. Я же не идиот и не сумасшедший. И я еще в состоянии понять, что моя жизнь первична, а выдумки вторичны. Выдумывать можно так, а можно иначе. И в конце концов, выдуманное всегда можно вычеркнуть. Как бы мне ни было жалко Сим Семыча, но себя самого-то жалче. И я вдруг отчетливо и даже радостно осознал, что могу и очень даже легко могу повычеркивать все, что придумал. Семыча, Степаниду, даже себя самого. Не просто вычеркнуть, а вырезать, выдрать, сжечь к чертовой матери. Дайте мне эту проклятую книгу, и я ее немедленно сожгу. Я ее аннигилирую, всю, целиком! Я представил себе, с какой радостью буду рвать в клочья эти листы и швырять их в огонь или в серную кислоту, чтоб они пропали навек.

Я выскочил в коридор и пошел на отдаленный мигающий свет коптилки. Мне нужно было увидеть дежурную и сказать ей, что я должен немедленно связаться со Смерчевым, Дзержином Гавриловичем, Пропагандой Парамоновной или даже Берием Ильичем. Я им скажу, и сразу все станет на свои места. Меня отвезут в Упопот и я в первую очередь удовлетворю свои питательные потребности, а потом... Да, я сделаю, я сделаю все, что они хотят...

Я не успел.

Свет вдруг хлынул в коридор из всех окон и из открытой двери.

— Кино! Кино! — закричала дежурная и кинулась на улицу, на ходу заворачивая назад козырек своей кепки.

Ничего не понимая, я ринулся за ней, выскочил наружу и остолбенел.

Все небо над головой полыхало разноцветным пламенем. На облаках, покрывавших сотни или даже тысячи гектаров неба, демонстрировался какой-то фильм. Появились ясно различимые фигуры. Две дамы в роскошных платьях пили в ресторане шампанское. Медленно проплыл длинный "кадиллак". В кабинете, уставленном антикварной мебелью, спортивного сложения господин говорил по телефону, откинув в сторону руку с дымящейся сигарой.

Я пригляделся и ахнул. Это был "Даллас", знаменитый американский фильм, тысячи серий которого еженедельно в мои времена показывали в самой Америке и во всех странах Европы.

Фильм был немой, но русские титры расплывались по облакам.

По улице мимо нас текла толпа народу: мужчины, женщины, дети и старики. Многие из них тащили в руках какие-то подстилки, подушки и одеяла. Я влился в общий поток и вскоре вместе со всеми оказался на обширном пустыре.

Там народу уже сидело видимо-невидимо. Тысячи, а может быть, даже десятки тысяч. Они сидели тихо, некоторые поодиночке, другие группами. Все таращились в небо, и все молчали.

Какой-то молчаливый заговор.

Я нашел свободное место, сел прямо в пыль среди выгоревшей травы и тоже стал смотреть. Как и полагается, фильм время от времени прерывался рекламой зубной пасты, стирального порошка и японских электромобилей. Впрочем, меня занимали не содержание фильма и не реклама, а грандиозность зрелища наверху и реакция зрителей внизу. То есть реакции практически не было никакой. Зрители, как бы состоя в общем массовом заговоре, хранили полнейшее молчание. Но когда на небесном экране два бывших чемпиона по боксу стали жевать гамбургеры фирмы Макдоналдс, все, сидевшие вокруг меня, непроизвольно зачавкали. И мне тоже вдруг так захотелось свежего гамбургера с ватной булкой и пузырящейся кока-колой, что я даже, кажется, застонал от вожделения. Моя реакция вызвала крайнее недовольство публики. Со всех сторон на меня зашикали, а кто-то даже ткнул кулаком в бок.

Впрочем, досмотреть фильм до конца мне, так же как и другим, не удалось. В тот самый момент, когда один герой небрежно пере-

давал другому чек на четырнадцать миллионов долларов, над головой возник решительно нараставший гул моторов и появилась целая армада тяжелых бомбардировщиков, которые, рассредоточившись, стали обстреливать облака трассирующими снарядами.

Тут же послышался шум моторов на земле, и в среде зрителей произошло замешательство.

— Облава! — крикнул кто-то, и это слово пошло по рядам, как огонь по бикфордову шнуру:

— Облава! Облава! Облава!

Люди поспешно вскакивали, подхватывали свои подстилки и подушки и разбегались в разные стороны. Кто-то схватил меня за руку и потащил куда-то. Вскоре мы оказались в каком-то кривом переулке.

Мой неожиданный поводырь затащил меня за угол какого-то сарая, повернул ко мне свое лицо и спросил шепотом:

— Вы меня узнаете?

Это был опять Охламонов.

Тайная вечеря

Мы шли, плутая, какими-то переулками, дворами, задворками, дважды бегом пересекли широкие проспекты, прошли через таинственный и безмолвный парк и опять крались каким-то извилистым путем, прижимаясь к стенам домов и избегая встреч с патрулями. Охламонов тащил меня за руку по каким-то подвальным лабиринтам. Потом он во что-то постучал, открылась какая-то дверь, закрылась, открылась вторая, и я увидел компанию молодых людей обоего пола, которые при свете коптилок пировали под большим портретом... Сим Симица.

— Господа! — закричал Охламонов, и голос его после тишины улиц прозвучал оглушительно. — Посмотрите, кого я вам привел! Наш Классик с нами! Штрафную нашему Классику!

Какая-то девица в длинном до пят черном платье из крашеной мешковины подбежала ко мне со стаканчиком, наполненным до краев.

— Выпейте с нами.

— А кто вы? — спросил я, недоверчиво принимая стаканчик.

— Разве вы не поняли, Виталий Никитич? — улыбаясь спросил Охламонов. — Мы ваши единомышленники. Мы — симиты.

Все присутствующие смотрели на меня с любопытством. Где-то за последним столом, в самом дальнем углу я заметил расценный лоб Дзержина.

— Дорогие комсоры, — сказал я, оглядываясь, куда бы поставить стаканчик. — Вы свою гнусную провокацию разработали очень ловко, но она не проходит. Я не симит. В прошлой своей жизни я знал многих людей и с Симом Семычем Карнаваловым был знаком тоже. Но я никогда не был с ним заодно, никогда не разделял его убеждений, и вы меня на такой дешевой мякине не проведете.

Сказав это, я вдруг автоматически, сам от себя того не ожидая, залпом выпил содержимое стаканчика и чуть тут же не свалился с катушек.

— Скромности нашего Классика ура! — опять прокричал Охламонов.

— Слава Симу! — провозгласил кто-то.

— Да здравствует самодержавие!

Дураки, подумал я, вот дураки. Ну неужели они думают, что меня с моим-то опытом можно поймать на такой дешевке.

— Дзержин Гаврилович! — крикнул я. — А что это ты там в углу прячешься?

— А я вовсе не прячусь, — сказал Дзержин и, выйдя из-за стола, стал пробираться ко мне. — Я рад, дорогуша, что ты к нам пришел. Я с самого начала знал, что ты наш и что ты нам поможешь. Дайте второй стакан Классику!

Та же девица в черном поднесла мне второй стакан. Я взял его. Мне терять было нечего.

— Так вот, — сказал Дзержин приблизившись. — Никакой провокации быть не может. Ты можешь нам верить или не верить, но бояться тебе нечего. Ты все равно приговорен Верховным Пятиугольником к забвению. Если даже мы окажемся провокаторами, то мы для тебя все равно ничего худшего не придумаем. Так что доверься мне, давай выпьем, а потом потолкуем.

Разговор с Дзержином

Разговор произошел в здешнем подвальном кабесоте. Собственно, сам разговор я почти не помню. Но вот что сказал мне Дзержин. Наступают очень серьезные события. Во всем Моско-

репе и на обширной территории Первого Кольца зреет недовольство населения коммунистическими и социалистическими порядками. Движение симитов растет и грозит превратиться в стихийное. В это же время служба БЕЗО (“Или, иначе говоря, ЦРУ, — сказал Дзержин. — Понимай, как знаешь”) получила совершенно точные сведения, что швейцарские врачи приступили к размораживанию Сима. Вероятно, сразу после разморозжения он двинется сюда. Его приход неизбежен, но власти готовятся к сопротивлению, которое следует предотвратить. Надо отвлечь их внимание.

— Каким образом? — спросил я.

— Ты должен пойти на уступки, чтобы они сосредоточились на твоём юбилее. Им это настолько нужно, что они положат на это последние силы, а мы этим воспользуемся.

— Кто — вы? — спросил я. — Или вот лично ты кто? Генерал БЕЗО, агент ЦРУ или симит?

— А, — махнул он рукой, — это неважно. В этой стране уже никто не знает, кто он на самом деле. Во всяком случае, ты должен сделать такую уступку, чтобы власти на нее клюнули, но чтобы Сим сохранился, хотя бы и под другим именем.

— То есть? — спросил я.

— То есть... — Дзержин наклонился к моему уху и быстро нащупал свой план.

Юбилей

Колонный зал был уже полон. Многочисленные зрители заполняли партер и балконы. Теле- и радиожурналисты суетились со своими камерами, микрофонами и проводами.

Через боковую дверь меня провели за кулисы, и я попал в атмосферу всеобщего нервного возбуждения. Под присмотром агентов БЕЗО рабочие сцены перетаскивали детали декораций — видимо, в конце торжественной части предполагался концерт.

В это время появился озабоченный Смерчев.

— Только что в адрес Юбилейного Пятиугольника пришла телеграмма, — сказал он и протянул мне желтый листок, на котором было написано буквально следующее: “Выступаю походом на Москву. Во избежание излишнего кровопролития предлагаю сложить оружие и не оказывать сопротивления. Сим”.

— Видите, — жалко улыбнулся Смерчев. — А вы говорите: выдумки.

Я еще раз перечел телеграмму.

— Черт знает что! — пробормотал я. — Метафизика, гегельянство и кантианство. — И повернулся к Смерчеву. — Ну, ничего, Коммуний Иваныч, — попытался я его успокоить. — Вы, главное, не волнуйтесь и берегите свою нервную систему. Сейчас мы этого Сима отменим.

Как только мы вышли на сцену, зал разразился бурными аплодисментами. Меня, естественно, усадили в президиум между Смерчевым и Дзержином. Обстановка в зале была накаленная, но все шло строго по протоколу.

Дзержин объявил торжественное заседание трудящихся Москопрепа открытым и предоставил слово Смерчеву.

Смерчев вышел к трибуне. Кратко, но красочно описал мой жизненный путь и перечислил литературные заслуги, напомнил о моем выдающемся вкладе в Гениалиссимусиану, в связи с чем особенно отметил мой вот этот роман.

— Но об этом романе, — сказал он, — органами пропаганды Третьего Кольца враждебности, а также всякими другими органами, распространяются клеветнические измышления. Утверждается, что главным героем романа является якобы некий Сим, хотя, как известно, никакого Сима в природе не существует. Впрочем, обо всем этом лучше всех расскажет сам автор.

Я вышел на трибуну. Я волновался. Я чувствовал, что получается не праздник, а что-то вроде пресс-конференции, какие в наши времена устраивались для раскаявшихся шпионов и диссидентов.

— Уважаемые товарищи! — начал я дрожащим голосом. — Дорогие комсоры, дамы и господа! Прежде всего позвольте мне выразить мою глубочайшую благодарность всем организаторам этого замечательного праздника и в первую очередь благодарность нашей партии, ее Верховному Пятиугольнику, органам БЕЗО, — я поклонился Дзержину, — органам религиозного просвещения, — я поклонился отцу Звездонию, но одновременно из-за трибуны показал ему фигу, — и, само собой разумеется, нашему славному, дорогому, любимому и неподражаемому Гениалиссимусу. Я прожил очень длинную жизнь, большую часть которой, впрочем, провел в бессознательном состоянии. Должен признать, что на протяжении своей жизни я совершил много непростительных и почти что непоправимых ошибок. Например, свои книги я писал обычно в пьяном виде, не соображая, что делаю, и иногда даже совер-

шенно не считался с тем, чего от меня ожидали партия, народ и госбезопасность. Так, например, в своем последнем романе я слишком много внимания уделил описанию некоего Сима, который якобы является наследником царского престола. А на самом деле никакого такого Сима никогда не было. Я его просто выдумал. Или говоря иначе, высосал его из пальца. Вот так. — Я сунул большой палец в рот и стал громко чмокать в микрофон.

Кажется, публике такой ораторский прием понравился, по залу прошел смешок, а кто-то даже захолопал.

Я посмотрел на публику и сказал:

— Я не понимаю, почему такое несерьезное отношение к моей речи и что там еще за смешки и хлопки. Я знаю, что среди вас есть так называемые симиты, которые надеются на что-то вроде второго пришествия, но... — тут я повысил голос и поднял палец... — тщетны ваши надежды, господа. Дело в том, что никакого Сима больше не существует.

Я услышал аплодисменты. Это аплодировал президиум. Смерчев, Сиромахин, Пропаганда Парамоновна и отец Звездоний.

Но публика напряженно и недружелюбно молчала. А потом в ней послышался какой-то неясный ропот. Агенты БЕЗО, расположившиеся вдоль стен, стали вглядываться в публику.

— Да, дорогие мои комуняне и комунянки, — сказал я, выдержав паузу. — Пересмотрев свой роман, я решил самым коренным образом переработать его и прежде всего вычеркнуть этого Сима ко всем чертам.

Президиум аплодировал стоя. Публика в зале притихла. Отпив из стакана воды, я помолчал и сказал негромко.

— К сожалению, у меня и сейчас не хватило принципиальности и твердости позиции, и я не смог выкинуть этого персонажа совсем. Но я его переименовал, и он будет теперь называться не Сим, а Серафим.

Произнося эти слова, я никак не думал, что они подействуют на публику так сильно. Но публика вдруг заволновалась, по рядам от первых к задним прошел шум.

— Что? Как? Вим? Херувим?

И вдруг в середине зала кто-то крикнул:

— Да здравствует Серафим!

И сразу поднялся невообразимый гвалт. Агенты БЕЗО, отделившись от стен, кинулись в публику, чтобы извлечь из нее того, кто кричал. Но кричал уже не один человек, а чуть ли не весь

зал. И вдруг из задних рядов на двух воздушных шариках взвилось к потолку полотнище, на котором было написано: "СЕРАФИМ".

В это время какой-то полковник с листком бумаги в руках подошел к Коммунию Ивановичу:

— Телеграмма из Женевы.

Я заглянул через плечо Смерчева.

"Выступаю походом на Москву. Во избежание излишнего кровопролития предлагаю сложить оружие и не оказывать сопротивления. Серафим".

Сейчас я уже даже не помню, в каком порядке что происходило. Позже говорили, что слухи о предстоящем прибытии Серафима немедленно разнеслись по всему Москорепу. Началась смута. Как обычно в таких случаях, граждане стали проявлять недовольство даже без достаточно серьезного повода. На каком-то предприятии по случаю моего юбилея рабочим давали по килограмму колбасы, которая называлась "Коммунистическая деликатесная в целлофане". Какая-то комунянка как будто бы откусила ее и закричала: "Граждане, это говно!" Другие тоже обратили внимание, что этот первичный деликатес слишком смахивает на вторичный. Как будто раньше они этого не замечали и сами не складывали по этому поводу анекдотов! Я думаю, они просто были в таком состоянии, что если бы в тот момент им дать настоящее венгерское салями, они бы тоже приняли его за вторичный продукт.

Бунт перекинулся на другие предприятия. Его, конечно, можно было еще подавить, но тут где-то в районе Новой Калужской заставы в город прорвались первокольцовские симиты. Они сначала кинулись к прекомпитам и другим пунктам удовлетворения потребностей, полагая, что москореповцы питаются исключительно финиками и мороженым пломбир. Сила их разочарования была столь велика, что они объединились с симитами москорепскими и стали крушить все подряд.

.....

Гениалиссимус

Меня долго вели по каким-то вонючим и плохо освещенным коридорам. Потом открыли железную дверь и куда-то втолкнули. Видимо, в какую-то камеру, в которой вообще никакого света не было.

Я стоял среди этого непроницаемого пространства, надеясь, что глаза, привыкнув к темноте, различат хоть что-то, но они не различали.

Звуков никаких не было слышно, но я почувствовал, что я здесь не один.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил я негромко.

— Да, — ответил тихий голос, который показался мне знакомым. — Здесь есть я.

— Кто вы?

— Гениалиссимус, — просто ответил голос. — Или бывший Гениалиссимус. А это ты, Витя?

— Здравствуй, Леша, — сказал я. — Знаешь, по-моему нас с тобой совершенно справедливо упрятали в этот сумасшедший дом...

— Почему? — услышал я в ответ.

— Потому что то, что сейчас происходит в нашем воображении, в действительности случиться никак не могло.

— Почему? — спросил он опять.

— Потому что сам твой вопрос говорит о твоей болезни. Ну, посуди сам. Мы с тобой родились, выросли и почти состарились в прошлом веке. Не могли же мы вместе оказаться здесь...

Гениалиссимус Букашев, подумав, сказал:

— Ты сам доказал, что понятие "действительность" очень условно. Во всяком случае для нас она существует только в том виде, в каком отражается в нашем воображении. То есть, действительность это только то, что мы реально видим перед собою.

— В таком случае сейчас для меня никакой действительности не существует, потому что в настоящий момент я перед собой не вижу ничего.

— А тебе ничего видеть не надо. Вытяни вперед руки и иди на голос.

Я так и сделал, и скоро мы с Букашевым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы это мы.

Ночная беседа

Всю ночь мы просидели на нижних нарах и тихо разговаривали, не видя даже силуэтов друг друга.

Гениалиссимус Букашев был арестован и доставлен на Землю специальным космическим отрядом БЕЗО за два дня до оконча-

тельного падения режима. Если не ошибаюсь, это был первый в истории арест на орбите. (Впрочем, космические тюрьмы, куда доставляли людей, арестованных на Земле, существовали и раньше.)

— Помнишь наш разговор в Мюнхене? — спросил мой сокамерник.

— Еще бы не помнить! — сказал я. — Очень хорошо помню. Помню даже, что ты собирался построить коммунизм, но так же, как твои предшественники, оказался настоящим утопистом.

— Ошибаешься, дружок! — вдруг сказал он совсем весело. — Я утопистом не оказался. Я коммунизм построил.

— Ты называешь это коммунизмом? — спросил я возмущенно. — Это общество жалких нищих, которые уже даже не знают разницы между продуктом первичным и вторичным?

— Да, милый, — сказал он с усмешкой, которую я, не видя, почувствовал, — именно это и есть коммунизм.

— Странно, — сказал я. — У меня об этой мечте человечества были другие представления.

— У меня тоже, — сказал он. — Но когда люди начинают воплощать свою мечту в жизнь и идут вместе к единой цели, у них всегда получается что-то вроде того, что ты видел.

— Ты говоришь, — заметил я, — как самый настоящий антикоммунист.

— Ну да, как самый настоящий, — согласился он. — Только с небольшой поправкой. Ты же знаешь, американцы говорят: если животное выглядит, как собака, лает, как собака и кусается, как собака, так это и есть собака.

— То есть ты хочешь сказать, что ты и есть самый настоящий антикоммунист?

— Ну, наконец, догадался, — похвалил он меня иронически.

— Интересное признание, — отреагировал я весьма саркастически. — Но запоздалое и бесполезное. Зачем ты мне это говоришь? Я же не следователь и не наседка. Да если бы я и был кем-то из них... Неужели ты рассчитываешь, что кто-то тебе поверит? Да сейчас любого останови на улице, он тебе скажет, что всегда был антикоммунистом. Ему еще можно поверить, но не тебе же. Нет, брат, это ты неудачно придумал, это тебя не спасет.

Я слышал, как он вздохнул.

— Неужели ты думаешь, я настолько глуп, чтобы рассчитывать на спасение? Нет, милый, мне вообще уже рассчитывать не на что.

Я многие годы жил на эликсире, который присылал мне Эдик. Как раз перед арестом я выпил последнюю порцию, действие ее уже кончилось, и начался ускоренный необратимый процесс, который близок к завершению. Так что терять мне нечего, врать незачем, поэтому то, что я тебе скажу, ты должен принять на веру без всяких доказательств. Ты можешь называть меня как угодно. Но главное не то, как я называюсь, а то, что я сделал. Я коммунизм построил, и я же его похоронил. Ты посчитай, сколько людей боролись с этим учением. Они создавали кружки, партии, разбрасывали листовки, гибли в тюрьмах и лагерях. А никто не понимал такой простой вещи, что для того, чтобы разрушить коммунизм, надо его построить.

Он замолчал, и я не побуждал его к продолжению разговора, потому что мне надо было подумать. Тайна, которую я никак не мог раньше постичь, открывалась мне с неожиданной стороны.

— Слушай, — сказал я, наконец. — Но если следовать твоей логике, то надо признать, что все люди, которые вели нас к коммунизму, были на самом деле его врагами.

— Конечно, — обрадовался он. — Все эти люди от Маркса и до меня, заразив коммунизмом человечество, дали ему возможность переболеть этой болезнью и выработать иммунитет, которого, может быть, хватит на много поколений вперед. Но из всех разрушителей коммунизма мне удалось больше других, потому что именно я на практике довел это учение до полнейшего абсурда.

Он сообщил мне это с явной гордостью и опять замолчал.

— Интересант, — сказал я, повторяя нашего общего бывшего друга. — Очень даже интересант. И что же, у тебя всегда были такие вот взгляды? И даже тогда, когда мы встречались в Мюнхене?

— Угу, — пробормотал он в своем углу. — Взгляды были такие. Но на практике я иногда от них отступал. Захватив власть, я иногда даже думал, что, может быть, и в условиях этой системы можно сделать что-то хорошее. Например, я предоставил независимость церкви, надеясь, что она сможет играть в обществе особую роль. Но из этого ничего не вышло. Власть там захватили безбожники и саму церковь превратили в особое государство в государстве, где можно распределять между своими должностями, пользоваться привилегиями и брать взятки.

— А ты хотел, чтобы она существовала как настоящая церковь? — спросил я.

— Ну, конечно, я хотел, чтоб церковь была как церковь и могла

влиять на нравственное воспитание. Да мало ли чего я хотел! Я очень скоро понял, что какая бы власть у меня ни была, я сделать ничего не могу. И чем больше я пытался править ими, тем отчетливей замечал, что на самом деле они правят мной.

— Кто они?

— Да я сам не знаю кто. Все они. Партия, общество, народ. Ну, а особенно журналисты, писатели, кинорежиссеры. Что бы я ни сказал умного или глупого, они тут же стучат в барабаны: как мудро отметил, как гениально заметил, как замечательно сказал... Я их сколько раз собирал, я им сколько раз говорил. "Да перестаньте вы меня превозносить на каждом шагу!" Так они тут же на все лады начинают петь дифирамбы моей исключительной скромности. Поэмы слагают, романы, кинофильмы. Ты думаешь, это я выдумал эту идиотскую Гениалиссимусиану? Это все они. Ты представляешь, дошло до того, что я сам от этого выл. Как телевизор ни включу, так сам себя вижу. И вообще. Какую идею ни выдвину, они тут же доводят ее до абсурда. Тогда я решил, зачем делать двойную работу, лучше уж прямо и начинать с абсурдной идеи. Вот я одну и выдумал. Самую идиотскую за всю историю этого государства.

— Ты имеешь в виду идею построения коммунизма в одном отдельно взятом городе?

— Да, — сказал он самодовольно и засмеялся. — Во всяком случае, идея была хоть и идиотская, но оригинальная.

— Да уж, — согласился я.

Это была какая-то странная, бесконечная и застывшая ночь. Все тот же сумеречный свет сеялся за окошком, совершенно не проникая внутрь камеры. Ни звука, ни шороха не слышно было ни со стороны окошка, ни со стороны двери, и тихий голос, почти шепот моего собеседника казался мне таким же беспомощным, как этот свет за окном. Как будто шепот этот производился не голосовыми связками человека, а пустотой.

Тихо, бесстрастно Букашев пересказывал мне свою фантастическую историю, иногда замолкал, как бы сам не веря тому, что все, о чем он рассказывал, действительно с ним когда-то случилось.

— К тому времени, когда я захватил власть, партия и госбезопасность практически уже слились в одно целое, мне осталось объединить их формально, что я и сделал. Но все-таки я вел себя непоследовательно. Мне иногда просто жалко было людей, и поэтому

иногда я вопреки своим убеждениям пытался эту систему как-то очеловечить, но она никак не поддавалась. Иногда я даже хотел провести какие-то реформы, собирал съезды, митинги, сессии. Говорил, дальше так жить нельзя, давайте же, наконец, что-нибудь сделаем, давайте будем работать по-новому. В ответ я слышал бурные аплодисменты и крики "ура". Газеты и телевидение превозносили меня за мою необычайную смелость и широту взгляда. Пропагандисты меня напропалую цитировали: "Как правильно указал, как мудро заметил наш славный Гениалиссимус, дальше так жить нельзя, давайте что-нибудь сделаем, давайте работать по-новому". И на этих словах все кончалось.

Собственно говоря, в его признаниях для меня ничего нового не было. Советская система и в мои времена вела себя точно так же.

— Но все же, — сказал я Букашеву, — может быть, твоя ошибка была в том, что ты окружил себя бюрократами и подхалимами, которые ничего другого, кроме, как хлопать в ладоши, и не умели. Может быть, тебе надо было выгнать их к черту и обратиться прямо к народу? Народ, я уверен, он бы тебя поддержал.

— Друг мой, — печально сказал бывший Гениалиссимус, — о каком народе ты говоришь? И вообще, что такое народ? И есть ли вообще разница между народом, населением, обществом, толпой, нацией или массами? И как назвать миллионы людей, которые восторженно бегут за своими сумасшедшими вождями, неся их бесчисленные портреты и скандируя их безумные лозунги? Если ты хочешь сказать, что самое лучшее, что есть среди этих миллионов, это и есть народ, то тогда ты должен признать, что народ состоит всего из нескольких человек. Но если народ — это большинство, то я тебе должен сказать, что народ глупее одного человека. Увлечь одного человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ.

— Может быть, ты и прав, — сказал я. — Может быть. А скажи мне, если ты такой умный, как же ты допустил, что твои соратники оставили тебя в космосе?

— А я этому не противился, — сказал он. — Мне на земле больше нечего было делать. Когда я увидел, что ничего изменить не могу, тогда я решил, пусть будет, как будет. Я видел, что машина запущена и сама собой катится в пропасть. И ход ее даже мне не под силу ни замедлить, ни ускорить. Я устал и хотел куда-то спрятаться от всего и от всех, но на Земле подходящего места не на-

шел. Поэтому, когда они решили оставить меня на орбите, я подумал: может быть, так и лучше. Они делали вид, что я ими руковожу, и я делал вид. А на самом деле я жил своей отдельной жизнью — ел, спал, читал книжки, думал и ждал.

— Чего ждал?

— Ждал, когда это все развалится. Теперь я дожил до того, до чего хотел, теперь можно и умереть.

Я не помню, когда и как я заснул. Я помню только, что я проснулся на верхних нарах, когда было уже совершенно светло. Когда я глянул вниз, я не увидел ничего, кроме аккуратно застеленных нар.

Вероятно, Гениалиссимуса увели ночью, когда я крепко спал.

С вещами

Дверь растворилась, и в камеру в сопровождении вертухая вошел казачий офицер в длинных шароварах и куртке с газырями и какими-то кистями.

— Дзержин Гаврилович! — кинулся я к нему. — Ты ли это?

— Нет, — сказал он, — я не Дзержин, а Дружин Гаврилович, — и, уклонившись от братания, поглядел в какой-то список.

— Кто здесь на букву "к"?

Оглядевшись вокруг себя, я сказал, что я здесь один на все буквы. При этом я подумал, а какое, интересно, мое имя на букву "к" он имеет в виду — Карцев или Классик?

— На выход с вещами! — буркнул Дзержин.

• Я взял свою кепку и вышел.

Оставив вертухая у камеры, мы с Дзержином-Дружином долго шли длинным извилистым коридором с ободранными стенами и грязным выщербленным каменным полом.

— Ну что? — спросил по дороге Дружин (пусть будет так). — Боишься?

— Нет, — сказал я. — Не боюсь.

— Ну и правильно, — сказал он. — Страшнее смерти ничего не будет.

— А тебя они, значит, оставили на прежней работе? — спросил я. — Потому что выяснили, что ты был симмитом?

— Нет, не поэтому, — сказал он. — А потому что им такие специалисты, как я, нужны. И не только им. Любому режиму. Ты хоть какую революцию произведи, а потом результат ее надо

кому-нибудь охранять. А кто это будет делать? Мы. Каждого из нас в отдельности можно заменить, а всех вместе никак нельзя, других не наберешь.

И повел меня дальше.

— Карету к подъезду! — крикнул он появившейся в дверях секретарше.

Я думал, что слово “карета” было сказано для красного словца, а оказалось, и правда, карета. Из красного дерева, с кожаными сиденьями внутри и с какими-то жандармами на запятках.

Кучер сразу погнал лошадей галопом.

Видимо, новая власть еще не окончательно установилась, потому что некоторые улицы были забаррикадированы поставленными поперек паровиками. Поэтому мы ехали каким-то странным кружным путем. Сначала мы проехали по проспекту Маркса, которому уже было возвращено исконное название Охотный ряд. Зато проспект имени Первого Тома теперь назывался не Тверской улицей, а Серафимовской аллеей. За всю дорогу мы не встретили ни одного портрета Гениалиссимуса. Только портреты Симыча. Но больше всего мне понравился памятник на площади против бывшего Дворца Любви. На лошади, на которой сидел когда-то Юрий Долгорукий, а потом Гениалиссимус, теперь возвышался Симыч, который пропарывал копьём пятиголового гипсового дракона.

Наконец, наша карета застучала колесами по бульжнику Красной площади и въехала в распахнувшиеся перед нами Спасские ворота Кремля.

.....

Эпилог

Я вернулся в Мюнхен вечером 24 сентября 1982 года.

Моя жена не знала о моем приезде, поэтому мне пришлось взять такси.

Проезжая через Мюнхен, я был потрясен и даже подавлен обилием огней, реклам, разноцветных автомобилей и по-праздничному одетой толпой на Мариенплац. Мне трудно было представить, что я приехал из будущего в прошлое, а не наоборот.

В тот же вечер, не успев я войти в дом, обнять жену и распаковать чемоданы, раздался телефонный звонок.

— Здравствуй, Витек, — услышал я знакомый голос. — Говорит Букашев.

— Букашев? — удивился я. — Гениалиссимус?

— Что? — переспросил он недоуменно. — Как ты меня назвал?

С ответом я не спешил. Я думал, что это никак не может быть Гениалиссимус, потому что после того, как я говорил с ним последний раз, у него было мало шансов остаться в живых. Впрочем, я тут же сообразил, что теперь время откалывает со мной другие шутки, и Лешка Букашев еще не знает о себе того, что я знаю о нем.

Все-таки к причудам времени, несмотря на все свои приключения, я так и не привык.

— Извини, — сказал я, — я малость притомился в дороге и не очень-то соображаю.

— Я тебя понимаю, — сказал он. — Хорошо, я тебе перезвоню, когда ты отдохнешь...

Я бросил трубку и задумался. Я понимал, что Букашев и Сим Симыч жаждут сейчас, получив от меня информацию, скорректировать свои планы. И сначала я даже хотел им в этом помочь. Но потом я подумал: а зачем мне это нужно? Могу ли я, имею ли право вмешиваться в исторический процесс?

Нет, такую ответственность я на себя, пожалуй, не возьму. Так я решил и соответственно с этим перестал подходить к телефону. А жене сказал, чтобы она всех, кому я зачем-то нужен, посылала куда подальше. Что она с тех пор и делала. Правда, в исключительно вежливой форме. Всем, кто звонил, говорила, что я или только что вышел, или еще не пришел.

Журнал "Нью Таймс" за время моей поездки обанкротился, ничего от меня не требовал, а сам я тоже не набивался. Я жил себе в Штокдорфе тихой деревенской семейной жизнью и писал вот этот роман. Работал я легко и быстро, потому что все, здесь описанное, я видел в иной своей жизни, а с самим романом получилось вроде бы так, что я его прочел прежде, чем написал. Поэтому вся эта история сложилась как бы сама по себе, а что в ней первично и что вторично, это, в конце концов, не так уж и важно.

Полностью роман будет в ближайшее время опубликован в издательстве ARDIS, 2901, Heatherwaj, Ann Arbor, Michigan 48101, USA.

ШОУ
(сцены из пьесы)

Постоянный автор нашего журнала Н. Гутина завершает работу над новой экспериментальной полижанровой книгой "Журнал", отрывки из которой "22" предлагает читателям. В центре "Журнала" – остросовременная пьеса "Шоу", главные действующие лица которой – Нелли, она же Автор (пьесы), и Террорист, а также многочисленные Зрители, которые одновременно являются участниками происходящего на сцене и его комментаторами. Пьеса, сочетающая элементы сатиры, бурлеска и шоу, завершается неожиданным и драматичным финалом. Из других художественных и публицистических материалов, составляющих "Журнал", мы отобрали для публикации рассказ "Двое на остановке и читатель" и философские "Пересказы".

Нелли Гутина

ЖУРНАЛ

За несколько минут до начала зал почти полон. В первых рядах – обычные посетители премьер: театралы, критики, журналисты, несколько более или менее известных общественных фигур. Если присмотреться, можно разглядеть знакомые лица. Состав зрителей довольно пестрый – студенты и профессора, солидные дамы и неприятная публика в джинсовых униформах, белые воротнички попеременно с голубыми. Тем не менее публика выглядит довольно гомогенно, особенно в мягком, умеренном освещении зала. В общем гуле выделяются отрывки фраз.

– В рекламе сказано, что в спектакле заняты известные лица – сплошь из светской хроники...

– Но они выступают лишь в эпизодических ролях!

– Смотрите, что написано: "Нелли – представительница нового угнетенного класса..."

– "Нового"? Любопытно. Кто играет?

– Автор. Собственной персоной. В сопровождении ансамбля интеллектуалов...

– А вот здесь: "Террорист. Из соображений конспирации фамилия исполнителя не указывается..."

– Вы заинтригованы?

— Я? Да я на этой сцене столько фокусов перевидал! Меня удивить трудно...

— Я думаю, речь идет о новом художественном приеме!

— Надо же! Нет, чтобы прийти в театр, расслабиться, отвлечься. Теперь всем им непременно требуется мое участие...

— Или соучастие...

— В чем дело? Пора начинать!

— Они явно опаздывают...

За кулисами

Нелли в окружении группы интеллектуалов. Она явно растеряна. По ее лицу видно, что произошла какая-то неувязка. Идет оживленный спор.

Первый интеллектуал: Ты не могла рассчитывать на нас!

Нелли: Но в этом спектакле вам отведена центральная роль!

Второй интеллектуал (с горечью): Мы не в состоянии играть какую бы то ни было роль, тем более центральную!

Нелли (в отчаянии): Но вы срываете спектакль!

Третий интеллектуал (задумчиво, явно колеблясь): Выходить из подполья? Сейчас?

Нелли (пренебрежительно): Какое там подполье? Всего лишь азилум для ослабевших духом, для капитулянтов жизненной борьбы. Приют для наркоманов, ежедневно поглощающих повышенную дозу синтезированных мыслей, концепций и идей...

Четвертый интеллектуал (устало): Что ты предлагаешь?

Нелли: Выйти на сцену. Включиться в действие.

Пятый интеллектуал: На сцену? С чем? Что у нас есть? Кое-какие идеи, немного идеологии и один, не вполне ясный, идеал...

Нелли: Что ж, когда-то считалось горячей смесью...

Пятый интеллектуал: Когда-то, может, и сходило, но сейчас? Ты выбрала явно неподходящий исторический момент.

Нелли: Но ваше положение безнадежно!

Первый интеллектуал (как бы встряхнувшись): О нет! Пока мы живы, там, вдали, маячит что-то вроде надежды. Погоди, имей терпение... Еще столько-то прочитанных книг, еще столько-то исписанной бумаги, и однажды, после очередной бессонной ночи, кто-то воткнет последний окурочек в кофейную гущу и скажет: "Эврика! Вот он, ответ!"

Нелли (с иронией): Как бы не так! Поглядите на себя! Накурились мыслей, наглotalись фраз. Выползаете из укрытия лишь для того, чтобы добыть очередную порцию. А я между тем смотрю на вас и думаю: сколько, должно быть, таких берлог на этом континенте, сколько берлог... И сколько таких вот – забитых, голодных и загнанных... Жалкие, деморализованные остатки некогда элитарных частей. С кучей нереализованных идей в голове, с ворохом неосуществленных проектов в портфеле и дюжиной бесполезных квалификаций в руках... О, если бы нашлась такая сила, что сколотила бы из вас свои отряды!

Интеллектуалы (вместе): Нет такой силы!

Голос (из-за кулис): Есть такая сила!

Интеллектуалы (растерянно): Кто это сказал? Кто это?

Открывается дверь артистической уборной и оттуда появляется Террорист, уже загримированный и оснащенный для спектакля.

Террорист (после паузы): Это я сказал. Повторяю: есть такая сила!

В группе интеллектуалов легкое брожение.

Террорист: Разрешите представиться: профессиональный революционер. Многолетний стаж. Солидная теоретическая база. Умею печатать на машинке. И обращаться со взрывчаткой. В настоящее время – в поисках работы...

Нелли: И временно занят в моем спектакле. (Поспешно добавляет): В некоторых эпизодах...

Интеллектуалы окружают Террориста плотным кольцом.

Первый интеллектуал (вкрадчиво): Хочешь делать революцию, дружок?

Второй интеллектуал (с иронией): Знаешь, мы все хотели бы изменить мир...

Третий интеллектуал (решительно): Но если ты толкуешь о разрушении – на меня не рассчитывай!

Четвертый интеллектуал (скептически): Человек ниоткуда, сидит себе на нигдешней земле, строит свои никудышные планы для никого...*

* В репликах и песенке интеллектуалов использованы мотивы биттлзов и их известные тексты. (Прим. ред.)

Террорист (нетерпеливо): Перестаньте распевать с чужого голоса!

Пятый интелле к т у а л (насмешливо): Ступай, наймись к каким-нибудь национальным борцам — их цели в принципе достижимы. В отличие от твоих...

Террорист (пожимая плечами): Не для того мне оставлено наследство, чтобы сражаться за чьи-то воображаемые свободы!

Третий интелле к т у а л (с издевкой): Никак, метишь прямо в спасители человечества?

Террорист (с пафосом): Когда же вы, наконец, поймете, что нет у вас никакого другого защитника, кроме меня, никакого другого мстителя, кроме меня, и никакого другого выхода, кроме как подняться и крикнуть: "Госпожа революция, мы к вашим услугам!"

Нелли: Не надо громких слов, мы покамест не на сцене...

Интелле к т у а л ы (хором):

Жизнь слишком коротка, дружок,

ей-ей,

Чтобы бороться и сражаться, дружок,

ей-ей...

Террорист: Поймите, ваши песенки спеты!

Нелли (волнуясь): До начала спектакля остались считанные минуты!

Интеллектуалы собираются в кружок. Завязывается оживленная дискуссия:

— ...если направить его иррациональную энергию в нужное русло...

— Сначала определи, что такое "нужное русло"!

— ...если подвести под его беспорядочную активность солидную теоретическую базу...

— Пока ты будешь строить теорию, он начнет разрушать на практике.

— Он так или иначе собирается включиться в действие, не дожидаясь нашего одобрения...

— В таком случае, не разумнее ли использовать его в качестве рычага?

— Для чего? Чтобы перевернуть всю сцену?

— Я всего лишь предлагаю проехать на его горячем часть пути...

— Вопрос, подходит ли нам его направление...

— Господа, господа, в нашем положении не выбирают — едут, куда везут...

Нелли (смотрит на часы): Тянуть больше невозможно!

Террорист (подходит к Нелли, кладет ей руку на плечо): Не переживай! Если надо, я могу вытянуть весь твой спектакль в одиночку...

Нелли: Ну-ну... Ты явно себя переоцениваешь. Никто не прочил тебя в главные герои...

Террорист (насмешливо): Затираешь? Хочешь оттеснить на второй план?

Нелли (морщась): Никто тебя не оттесняет. Просто это не соответствует первоначальному замыслу...

Террорист: Еще не поздно все переиграть.

Нелли (лихорадочно соображая): Мне придется сыграть за них за всех. Пропеть их песни, прочесть их монологи...

Террорист: Ты только дай мне шанс, а уж я позабочусь об эффектах, уверяю...

Нелли (почти соглашаясь): Но учти — в твоём распоряжении только конвенциональные художественные средства! Никакой бомбы.

Террорист (вкрадчиво): Не бойся! Я буду тихо-тихо носить ее за пазухой...

Нелли (не слушая): Да, у меня нет выбора. Пора начинать! Ну, что ж, идем...

Интеллектуалы продолжают свой спор. Нелли и Террорист, взявшись за руки, выходят на сцену. Занавес поднимается. Акт первый.

.....

Из акта второго.

(После "штурма" Летнего дворца)

Террорист и Нелли выходят из Дворца. Но едва начав спускаться по мраморной лестнице, останавливаются, как вкопанные: на их глазах начинается Реанимация. Слово резиновые игрушки, надуваются человеческие туловища, к ним присасываются конечности; рулоны шелка драпируют уже тронутые разложением тела, прикрываются мехами окоченевшие плечи, полусожженная пакля волос приклеивается к разбитым черепам, к мертвенно бледным губам прирастают полоски усиков. Надуваются лопнувшие груди, растет стеклянный шар живота у Девы, и снова внутри него играет склеившийся из кусков фарфоровый Младенец. Возобновляется красочное торжественное шествие знаменитостей, а на поверхности бухты всплывает желтая подводная лодка и на ее палубе появляется победоносный, улыбающийся во все стороны Кумир толпы. Лакеи в черных фра-

ках выстраиваются оркестровой группой, дирижер в костюме швейцара взмахивает палочкой, и гигантская гора мусора фейерверком взвивается в небо, рассыпаясь сотнями цветных огней. Гимном звучит старая мелодия: "Никто не изменит мой мир!"

В зале:

- Bravo! Bravo!
- Какие декорации! Какая техника!
- Феерия! Великолепно! Замечательно!
- Bravo!

На сцене:

Нелли и Террорист стоят бледные, неподвижные, растерянные. Нелли молча и выразительно смотрит на Террориста, он, не выдержав ее взгляда, опускает голову.

В зале:

- Сюрприз, однако, не из приятных для героев!
- Для него!
- Нет, для нее!
- А я говорю – для обоих!
- Послушайте, что я скажу: она переметнется к победителям! Голову даю на отрез!

На сцене:

Нелли, не говоря ни слова, отвечает Террористу звонкую пощечину. Он молчит с растерянным и виноватым видом, Нелли смотрит на него с возмущением и гневом.

В зале:

- А что я говорил?! Она дала ему пощечину!
- Но за что?

На сцене:

Нелли (после длительной паузы): И это тот "праздник на моей улице", который ты мне сулил?

Террорист: Послушай, но это все же была грандиозная попытка, согласишься...

Нелли (яростно): Грандиозная? Ты посмел сказать: "Грандиозная"?! Всего лишь небольшой нарывчик на теле общества – и тот ты не сумел удалить!

Террорист: Ты несправедлива. Я лез из кожи вон...

Нелли: Жалкий фигляр! Разглагольствовать за столиком кафе, конспирировать в библиотеке — только на это ты и способен! Да как ты смел вводить в заблуждение меня, их (в сторону зала) и все остальное человечество? Мелкий демагог! Принц с позоленной хлопущкой! Ах, как я могла так обмануться?! (Плачет.)

Террорист: Только, ради Бога, не нужно сцен, не нужно слез!

Нелли (сквозь слезы): Защитник угнетенных! Робин Гуд в дырявых джинсах! Самозванный покровитель! Да где ты был все эти годы? Пока ты маршировал в своих дурацких демонстрациях — меня давили со всех сторон! Пока ты рвал глотку в защиту чьей-то эфемерной свободы — меня все глубже загоняли в подполье! Ты ловил кайф в интернациональных компаниях сомнительных борцов за чью-то независимость, за чьи-то ничтожные права — в то время, как я так отчаянно нуждалась в защите...

Террорист (возмущенно): Но это же ложь! Не вы ли все орали хором: "Не надо насилия!" и подышали от ЛСД? Не вы ли скулили: "Дай шанс миру!" — и выбрасывались из окон? В то время, как я так отчаянно нуждался в солдатах! Я брел следом, как побитый пес, я дышал вам в затылок, но вы даже не повернули в мою сторону ваши одурманенные головы... "Идиоты! — взывал я. — Делайте революцию, а не любовь!" Но коварное общество всякий раз подсовывало вам все новые игрушки...

Нелли (со злостью): Ты был бездарным вербовщиком несостоявшейся революции! А мы — мы были детьми, которые пробовали мир на вкус и на ощупь. И представь себе — он нам нравился! Мы вовсе не были уверены, что его следует менять. А ты, трусливо подкрадываясь сзади, лишь отравлял воздух своим ядовитым дыханием!

Террорист (входя в раж): Ты лучше вспомни, как мчались толпы перебежчиков под чужие знамена! Ты вспомни, как сама, поглядев на часы, сказала: "Пора!" — и побежала догонять последний поезд! А я — я глядел вам вслед и думал: "Черт побери, почему я должен отдуваться за вас за всех?!"

Нелли (не слушая его): Твои обещания пусты, твои угрозы смешны, ты не оснащен, не вооружен и, главное, не создан для боя. Все, что ты носишь за пазухой, — пачка полуистлевших брошюр, которые уже никто не читает...

Террорист (тихо, с ноткой угрозы): Я пришел в этот

опасный и жестокий мир невооруженным. И потому тихо-тихо ношу за пазухой бомбу. И когда-нибудь я ее брошу!

Нелли (с горечью): Не бросишь! А если и бросишь — то не туда. Если она взорвется — то не там. Если погибнут люди — то не те...

Террорист (примирительно): Успокойся, прошу тебя... Чуть меньше драмы, чуть больше последовательности. Я в последний раз спрашиваю тебя — и себя: что же мне делать? Быть — или не быть?!

Нелли (сквозь слезы): Будь! Будь, черт бы тебя побрал! Но будь таким, как я хочу!!

Занавес. Антракт. В фойе:

(Из разговора двух зрителей): Ну, и сцену она ему закатила!

— Еще бы! Это он втянул ее во все эти дела...

— Не понимаю, почему первый акт противоречит второму...

— Все дело в конспирации, понимаешь? Они не могут играть в открытую...

(Из разговора двух зрительниц): Она ему подыгрывала!

— Чтобы потом настоять на своем!

— Но она позволила ему выступить в роли спасителя!

— Но отказалась от кровавой жертвы...

— На словах!

(Из разговора Психолога с Социологом): Теперь, надеюсь, ты убедился, что это она им манипулирует, а не он ею?

— Это не однозначно. Не исключено, что весь ее так называемый "протест" благополучно увял бы вместе со всеми остальными инфантильными цветочками шестидесятых годов, если бы он не накормил ее ядовитыми ягодками семидесятых...

— Все же, согласишься, ее претензии к нему куда серьезней, чем ко всем тем, кого он пытается ей противопоставить, как естественных "врагов".

— Это претензии к тактике, а не к стратегии...

— Не скажи.. А это категоричное обвинение в ошибочности всего избранного им пути? Она обвиняет его чуть ли не в забвении интересов ее класса во имя сомнительной политической борьбы за сиюминутные цели всяческих посторонних движений...

— Но ведь он выдвигает встречное обвинение! И вообще — эта его борьба за "воображаемую независимость", как она говорит, "в компании сомнительных борцов", была, возможно, как

раз сублимацией той несостоявшейся революции, которую он так жаждал возглавить...

— У него никогда не было данных, чтобы возглавить какую бы то ни было революцию, даже если она состоялась.

(Из разговора Театрала с Критиком): Этот переход от идиллической сцены во Дворце к скандалу на его ступенях был довольно контрастным...

— Я не почувствовал особого контраста — обе сцены были пародийны, по-моему...

— Вы знаете, образ героини мне кажется... э-э... недостаточно раскрытым, что ли... Какие-то неясные намеки, туманные метафоры. Невозможно понять, кто ее, собственно, угнетает... Да и ее игра — она не передает состояния угнетенности и подавленности...

— Может быть, автор умышленно избегает конкретности, чтобы оставить нам свободу интерпретаций?

— А текст, что вы скажете о тексте?

— По-моему, хороший, сжатый текст, насыщенный внутренним драматизмом. Диалоги, несмотря на всю их аллегоричность, звучат вполне естественно — временами даже забываешь, что это перевод...

— Ах, так это переводная вещь?

— Разве вы этого не почувствовали?

— Да, да, сейчас я понимаю... То-то мне казалось, что спектакль лишен какого бы то ни было национального и локального колорита!

— Ну, культурная принадлежность не всегда выражается в формальных признаках. Французская драма может быть французской и в древнегреческом обрамлении, а итальянская опера — итальянской, даже если ее действие происходит в Египте.

— И все же набор точных реалий многое бы прояснил...

— Но тогда вещь моментально утратила бы свою условность.

— Я думаю, тут есть и другая причина... Чувствуется сильное влияние французской интеллектуальной драмы с ее доведенной до крайности условностью... А вам не кажется, что автор чересчур заклинен на социальных аналогиях?

— Ну, знаете, родившись по ту сторону "железного занавеса", сформировавшись по эту, неизбежно рискуешь впасть в соблазн излишней универсальности в трактовке общественных конфликтов...

(Из разговора Журналиста с Представителем Общественности) : — То, что автор проделал в первом акте, он исправил во втором. Вы удовлетворены?

— Нет, я намерен добиться решительного прекращения этого возмутительного спектакля!

— Разве вы не взяли реванш в сцене Реанимации?

— Весь этот камуфляж рассчитан только на то, чтобы ввести в заблуждение цензуру, общественность и полицию.

— Но вы не сможете этого доказать...

— Я уверен, что доказательства не заставят себя ждать, но будет уже слишком поздно!

— Вы претендуете на роль пророка. Никто не знает, чем закончится спектакль...

— Послушайте, если раздастся сигнал воздушной тревоги, вы спуститесь в бомбоубежище или решите, что сирена взвыла сама собой?

— Не вижу аналогии...

— Считайте, что это был сигнал тревоги. Я уверен, что автор сознательно и последовательно ведет нас к трагическому концу!

(Из разговора Политических Деятелей) : Эта ситуация нарушает все каноны! В любом конфликте должны быть противоборствующие силы, а здесь нет никого, кто противостоял бы героям...

— А силы порядка? Полиция?

— Они не имеют возможности вмешаться! Таковы условия...

— Эти условия не соответствуют реальности!

— В этом спектакле мы имеем дело не с реальностью, а с мифом.

(Из разговора Полицейских Агентов) : Не понимаю, к чему сводится наша роль?

— Стоять на страже самовыражения...

— У меня руки чешутся.

— Потерпи — возможно, в следующем акте придется вмешаться...

— Тебе что-то известно?

— Да. Получены дополнительные сведения: нити ведут за железный занавес!

— Дело принимает серьезный оборот...

— Герои намерены получить оттуда инструкции, деньги и, конечно же, оружие.

- Что ты планируешь?
- Выждать, выследить и взять!
- Где и как?
- По возвращении оттуда. И ни в коем случае не на сцене...
- А где?
- За кулисами.
- Не понимаю... Каким образом?
- Мы должны заставить героев сойти со сцены...

Занавес.

.....

Из акта четвертого.

(После визита за железный занавес)

Море, вечер, праздничная иллюминация. Посреди сцены – Неофит, только что перебравшийся с Востока на Запад. Он поет:

Вы ж меня обманули, вы же меня подвели,
 Меня, -олога и -иста, с ума-разума свели!
 Я ведь знаю их патенты, все кругом одни агенты,
 Я вам выдал их секреты, я вам дал свои советы,
 Я привез сюда трактаты, чтоб устроить здесь дебаты,
 Вы же меня не оценили, вы же мной пренебрегли,
 Меня, -олога и -иста, с ума-разума свели!
 Вы ж мне сами обещали, вы ж меня там навещали,
 Вы ж меня подманули, вы ж меня подвели!
 А между тем, я знаю кзк, я знал всегда, как надо там,
 Я знал всегда, как нужно здесь,
 Я их хотел разоблачить, а вас стремился научить,
 Предостеречь, предотвратить, предупредить, как все пресечь,
 Но вы меня не оценили, вы же мной пренебрегли,
 Меня, -олога и -иста, с ума-разума свели!

За кулисами

Террорист: Скоро наш выход! Предупреждаю: если не хочешь провалить спектакль, нужны более решительные действия...

Нелли: Только без чрезмерностей. Я терпеть не могу лобовых эффектов.

Террорист: Ты хочешь прочесть мне лекцию? Пойми, есть только один способ, только один...

Нелли: Замолчи! Я не согласна!

Террорист (со вздохом) : Ладно, пошли на сцену...

Агент (неожиданно появляясь за кулисами) : Стойте! Я вынужден вас задержать!

Нелли : По какому праву?

Второй агент (появляясь за спиной Террориста с пистолетом в руках) : Вы советские шпионы!

Террорист : Что зачушь!

Первый агент : Но вы побывали за железным занавесом!

Нелли : Это был всего лишь теоретический экскурс...

Второй агент : Вы запаслись идеологическим горючим...

Террорист : Чего-чего, а такого горючего у нас и у самих хватает. Сами можем экспортировать за железный занавес...

Первый агент : Вас снабдили инструкциями?

Террорист : Как бы не так! Получишь инструкции у тамошних маразматиков...

Первый агент : А оружие?

Нелли : Какое еще оружие?

Второй агент (вкрадчиво) : А бомба? Бомбочка, бомбоньерочка? Я вынужден ее изъять!

Нелли : Но это же всего лишь часть реквизита!

Журналист (вбегая) : Что тут происходит?

Нелли : Поглядите сами! Где это слыхано? Обыскивают актера, допрашивают автора, меняют весь ход пьесы!

Журналист (агентам) : Кто дал вам право становиться между актерами и зрителями?

Первый агент : Мы обязаны предотвратить их выход на сцену – они представляют собой опасность...

Журналист : Публика достаточно взрослая, она вполне может и без вашей помощи решить, что для нее опасно, а что нет.

Второй агент : Но вы не знаете, какой сюрприз готовит автор!

Журналист : Послушайте, если каждый, кто ничего не смыслит в искусстве, начнет указывать автору, с чем можно выходить на сцену, а с чем нельзя...

Нелли : Это недоразумение. Я не понимаю, чего от меня хотят! Мне нечего скрывать, я ничего не замышляю... Незатейливый сюжет, соответствующие декорации, несколько более или менее удачных эффектов, парочка монологов, немного музыки и один неудавшийся праздник... Вот и все. Право же, у вас нет оснований препятствовать нашему выходу на сцену...

Террорист: Чего ты у них выпрашиваешь? Легализации? Легитимации? Я могу прорваться на сцену и нелегальным путем...

Второй агент (прижимая к его спине дуло пистолета): Ну-ка, попробуй!

Нелли (отводит Первого агента в сторону): Не обращайтесь внимания на его декларации. Это рассчитано на внешний эффект...

Первый агент (изображая доброжелательность): Поймите, если бомба взорвется, вас обвинят в соучастии...

Нелли: Ничего не взорвется!

Первый агент: Вы пытаетесь ввести нас в заблуждение...

Нелли: Клянусь, нет! Пропустите нас на сцену. Пьеса идет к развязке...

Первый агент (твердо): Я этого не допущу!

Журналист (внимательно прислушиваясь к их разговору): Кто дал вам право срывать спектакль?

Первый агент: Мы вынуждены взять на себя ответственность.

Журналист: В тот момент, когда вы возьмете ответственность на себя, мы превратимся в полицейское общество!

Первый агент: Но наш долг — гарантировать безопасность!

Журналист: Не покушаясь при этом на устои нашего общества!

Второй агент (тыча пистолетом в Террориста): А он, что — единственная гарантия сохранения устоев?

Журналист: Где доказательства его преступных намерений? Вы уверены, что за его бравадой скрывается злой умысел?

Нелли (устало): Послушайте, никто не знает его лучше, чем я... Все его угрозы так же мало значат, как и обещания. Говорю вам — взрыва не будет!

Журналист: Публика заинтересована в продолжении спектакля. Вы рискуете вызвать большой скандал...

Второй агент (Первому): Что будем делать?

Первый агент (разводя руками): Придется выпустить их на сцену.

Нелли и Террорист идут к занавесу.

Второй агент: Что же, выходит, — мы бессильны?

Первый агент: Нет, у нас еще есть возможность — поймать их на горячем. Во время последнего акта. Пошли!

На сцене:

Неофит (с надрывом): Ну, чего вам еще от меня нужно, чего? Слушали, аплодировали — теперь разрядки захотелось, да? Вы же меня сами... А-а, пошли вы! (Машет рукой и удаляется.)

На сцену выходят Нелли и Террорист. Усаживаются за столиком кафе. Достают бинокли и направляют их на зрителей.

Террорист (после паузы): Ты хочешь сказать, что это — то самое несчастное человечество, которому я мешаю жить?

Нелли: Еще как мешаешь!

Террорист (саркастически): А ты?

Нелли: Что касается меня, то я не прочь заключить перемирие с этим обществом. Отлежаться, отоспаться, переждать. Собраться с мыслями, собраться с силами... Короче, я предлагаю сделать передышку.

Террорист (продолжая разглядывать зрителей в бинокль): Об этом не может быть и речи!

Нелли: Посмотри на их лица и пойми: они вполне довольны. Дай им жить, как они хотят...

Террорист: Да не хотят они, говорю тебе — не хотят! Они оболванены, одурманены, обмануты... Что угодно, только не довольны...

Нелли: Оставь их в покое...

Террорист: Покой им только снится! Погляди на них — тусклые, апатичные, со складками горечи на лбу... Сонные лунатики, совы истории. Днем видят сны, попробуй-ка их растормошить. Но я дождусь ночи, я дождусь...

Нелли (со вздохом): Сколько революций, бунтов, восстаний, сколько теорий, разговоров и митингов. И крови, замешанной на чернилах... И вот результат: вместо ярмарочного балагана — этот комфортабельный зал.

В зале:

— Кажется, они намерены рассуждать о роли революций в истории...

— Не может быть! Это же абсолютно не сценично!

— Ах, я уже не понимаю, что сценично, а что нет, где декларация, а где декламация...

— Никто не понимает...

— Я уже не знаю, где кончается шоу и где начинается политика...

— Никто не знает...

— По-моему, они на пороге капитуляции...

— Но они же должны доиграть свою роль до конца!

— Зачем? Их союз так или иначе должен был распасться...

— Не думаю... Они играли довольно слаженно, несмотря на разногласия... Каждый в своем амплуа...

В фойе:

Первый агент (говорит по рации): Немедленно вызвать специальный отряд по борьбе с террором. Оцепить весь район, перекрыть улицы, ведущие к театру! Установить патрули за кулисами и на выходе из зала!

.....

Из-за кулис с обеих сторон выползают на сцену полицейские специального отряда — на животах, с автоматами наготове. Они окружают Нелли и Террориста, отрезая им путь за кулисы.

Голос из зала: К вам подбираются сзади!

Агент (из зала, театральным шепотом): Черт побери!

Нелли остается сидеть, даже не вздрогнув. Террорист вскакивает и быстрым движением распахивает свою кожаную куртку. Под ней — бомба. Зал, тихо ахнув, замирает.

Агент (из зала): Вы окружены! Предлагаю вам сойти со сцены.

Террорист (решительно): Я остаюсь!

Нелли (неуверенно): Я, пожалуй, тоже. Я зашла уже слишком далеко...

Агент: Спротивление бесполезно!

Террорист: Если вы прикоснетесь ко мне, бомба взорвется!

В зале начинается паника. Кто-то встает и устремляется к выходу, где натывается на полицейский заслон, кто-то кричит, кому-то плохо. Ропот возмущения. Однако основная часть зрителей, искушенная в театральных эффектах, сохраняет спокойствие.

Террорист: Если вы не очистите сцену, весь этот зал взлетит вверх тормашками!

Агент (из зала): Стойте! Сформулируйте ваши требования!

Нелли (Террористу, тихо): Скажи им, в конце концов, чего ты добиваешься...

Террорист: Я хочу говорить. Я хочу быть, наконец, выслушанным и, по возможности, услышанным. Установите телевизионное оборудование. Я хочу, чтобы последний акт транслировался по телевидению.

Агент: Нам нужно некоторое время... Мы должны обсудить... Мы просим небольшой антракт, чтобы решить...

Террорист: Согласен!

Нелли: Занавес!

Зал взрывается оглушительными аплодисментами.

.....

(Интермедия перед последним актом).

За кулисы вбегает запыхавшийся Журналист.

Журналист: Где он? Где герой драмы?

Нелли: У себя в уборной, готовится к последнему акту.

Журналист: Мне необходимо проинтервьюировать его. И вас тоже...

Убегает за кулисы, в уборную Террориста.

Из интервью Террориста:

— Я хотел бы спросить, как вы к этому пришли. Вы принципиальный противник системы? Или, быть может, готовы к сотрудничеству с ней на определенных условиях?

— Я никогда не воротил нос от так называемых благ нашей цивилизации — я всего лишь хотел освободить ее от шлаков. Роль ассенизатора меня бы вполне устроила. Я не беглец, а, если хотите, законный наследник...

— Незаконно лишенный наследства?

— Продолжу свою мысль. Поначалу я был настроен примирительно. Видит Бог, я не хотел разрушать это здание — я всего лишь пришел с проектом реконструкции. И только в процессе, убедившись, как все прогнило изнутри и как безнадежен труд, пришел к выводу: пора все снести...

— Чтобы заняться потом реставрационными работами?

— Чтобы построить нечто новое.

— Ну, знаете, это старая песенка: мы старый мир разрушим, мы новый мир построим. Она исполнялась слишком много раз, разными голосами и на разных подмостках... Я не понимаю, почему именно вам положены аплодисменты?

— Видите ли, есть два открытия в истории человечества, которые кардинально изменили наше представление о мире. Первое сделал Коперник, обнаружив, что Земля вращается вокруг Солнца. Второе сделано мною.

— В чем же оно состоит?

— Она вращается не в ту сторону!

— А в какую, простите?

— В противоположную...

— Ну, в таком случае, я не стану добиваться, чтобы вы изложили мне свою программу-максимум. Но какова ваша программа-минимум?

— Пришло время перетасовать колоду!

— Кто был ничем, тот станет всем? Увы, и это не ново...

— Я, право же, не пытался выдать себя за новатора. Я не философ, не идеолог и, в строгом смысле слова, даже не революционер...

— И тем не менее претендуете на место наверху — то самое, которое занято? В чем покрытие ваших претензий?

-- На лестнице меритократии мне отведено не последнее место...

— А Нелли? Что вас связывает с Нелли?

— Она, как вы могли понять, представляет всех тех, кому нечего терять, кроме своих цепей. Но не хватает сил, чтобы от этих цепей освободиться...

— До сих пор все ваши попытки подтолкнуть ее к открытому бунту были безуспешны...

— Она и весь ее класс больны социальным недугом. Лечение — длительный процесс.

— Несколько слов о вашей стратегии, если это, конечно, не военная тайна...

— Какая там, к черту, тайна! В этом спектакле все как на ладони. Я вынужден был объявить войну — и пока терплю поражение...

— И теперь, когда вас прижали к стенке, вы берете в руки бревно?

- Нет, бомбу!
- Что нас ожидает в финале?
- Мой последний и решительный бой...
- Исход которого предрешен?
- Не забегайте вперед. Спросите у Автора!

Из интервью с Нелли:

Журналист: Позвольте задать вам вопрос, от которого все авторы обычно морщатся. Нелли — это...

Нелли: Можете не продолжать, все ясно. Что ж, каков вопрос, таков и ответ. Нелли — не я. Я — не Нелли.

Журналист: Тогда поговорим о вашей героине. Известно ли ей, что она имеет дело с маньяком?

Нелли: Не исключено. Но здесь имеется место для разных интерпретаций. Я бы на вашем месте не стала настаивать именно на этой.

Журналист: Хорошо. Давайте примем за рабочую гипотезу, что Нелли относится к Террористу, как к навязанному, но неизбежному союзнику. В таком случае как понять противоречивое поведение вашей героини в начале так называемого “праздника”, во время его кульминации, и после его неожиданного финала?

— Видите ли, в начале действия Террорист не вполне понимает, что Нелли не нуждается в так называемой “расчищенной площадке”, а пышная процессия сильных мира сего не кажется ей такой уж пугающей. Поэтому, взявшись защитить ее от героев масс медиа, Террорист не понял, что главная опасность угрожает Нелли не со стороны сцены...

Журналист: А откуда же? Может быть, из-за кулис?

Нелли: Нет, и не из-за кулис...

Журналист: Тогда я не понимаю...

Нелли: Со стороны зрительного зала...

Журналист: Вот как?!

Нелли: Террорист же, напротив, вполне владеет залом.

Журналист: В таком случае какие же они союзники?

Нелли: Как насчет другой интерпретации?

Журналист: Ладно. Давайте примем за рабочую гипотезу иное: Нелли не наивна. Она прекрасно понимает, с кем имеет дело. Террорист часто бесит ее своим фанатизмом, своими “любвыми” методами, а его сентенции вызывают у нее скептическую

усмешку. Более того, если судить по ее поведению во время праздника, нельзя даже с уверенностью сказать, что этих двоих объединяет ненависть к общему врагу...

Нелли: Допустим. Что из этого следует?

Журналист: Из этого следует, что вы показываете нам противоестественный альянс...

Нелли: Разве утопающий не хватается за соломинку?

Журналист: Это бомбу вы выдаете за соломинку?

Нелли: Послушайте, разве у моей героини есть альтернатива? Приведите мне любого другого к берегу того мутного потока, в котором она барахтается... мобилизуйте кого-нибудь пореспектабельнее, найдите его — и я перепишу вещь! Назовите мне, кто готов на эту спасательную акцию, и я сделаю его героем! Его, а не этого психопата! Думаете, я всю жизнь мечтала выставить маньяка в позе Спасителя? Или вы, может, полагаете, что мне нравится играть истеричку, которая поочередно то закатывает ему скандалы, то бросается в объятия?

Журналист: Стало быть, вы не отождествляете себя со своей героиней?

Нелли: Конечно, нет! Но я создаю образ, вхожу в роль...

Журналист: Любопытно будет посмотреть, как вы из нее выйдете...

Нелли: Как Автор, я контролирую ситуацию.

Журналист: В таком случае, скажите, чем все это кончится?

Нелли: Ах, не спрашивайте!

Журналист: И все же... Можно ли надеяться на благополучный исход?

Нелли: Это зависит от того, откуда вы не все это смотрите.

Журналист: Из зала, разумеется!

Нелли: Ступайте в зал, сидите спокойно...

Из своей уборной выходит Террорист.

Журналист: Важная новость — ваши условия приняты! Телевидение и пресса в полной готовности. Последний акт будет транслироваться по всем каналам...

Нелли (Террористу): Ну, что же, — иди, произноси свой заключительный монолог...

Террорист: Как? А ты?

Нелли: Я выхожу из игры...

Террорист: Ты оставляешь меня одного?

Нелли: У тебя есть, с чем выйти на сцену. В отличие от меня...

Террорист: Это наш общий арсенал!

Нелли: О нет! О нет! Я с самого начала пыталась ограничиться конвенциональными средствами, ты же навязывал мне свой стиль... Признаю, твоя тенденция победила. Желаю удачи!

Нелли целует Террориста в висок. Террорист обнимает ее. В отдалении Журналист торопливо щелкает фотоаппаратом. Занавес. Акт пятый.

ПЕРЕСКАЗЫ

Два Моше

— Кто я? — спросил он, с недоверием и сомнением глядя на себя в зеркало. До вчерашнего дня все было ясно. Он был знатным египтянином, членом фараонова семейства. Теперь на это само собой разумеющееся знание (впитанное, как он полагал до сих пор, с молоком матери) наложилось другое, полученное внезапно и без соответствующей подготовки. Эту информацию, полученную сознанием, еще предстояло обработать.

Итак, новое знание отрицало предыдущее. Выходит, констатировал он, я не египтянин, не член фараонова семейства, а еврей, сын чуждого племени? Стоп. Чуждого кому? Египтянам. Я же египтянин, стало быть... Но согласно новым данным, я не египтянин, а еврей, стало быть, не я представитель чуждого племени, а то самое фараоново семейство, членом которого я являюсь... Таким образом, я прежний и я новый становимся чужими друг другу. Более того — врагами.

Не может быть. Разве я перестал вдруг быть самим собой? Вот он я — такой же, как был вчера и позавчера. Вот мои руки, мое лицо. Мое египетское лицо...

Стоп. Если полученная информация верна, то передо мной — не египетское лицо. Ведь кровь не водица, не так ли? Стало быть, надо поискать какие-то новые черты, не подмеченные ранее. Но, черт возьми, лицо не изменилось со вчерашнего дня! Или изменилось?

Не сходи с ума. Конечно, не изменилось. Знание не материаль-

но. И вообще. Начнем все сначала. Я воспитан в Египте, я член семейства фараона, египетская культура — моя культура. Так? Так. Эти данные остаются неизменными даже после получения дополнительной информации. Вся моя прежняя жизнь и, главное, вся моя, такая, как она есть, личность не могут быть отменены в результате полученного внезапно знания.

Но с другой стороны, это знание очень весомо. Согласно полученной информации я — не египтянин. Я не могу игнорировать это сообщение, которое перечеркивает всю мою прежнюю самоидентификацию.

Попробуем подойти с другого конца. Да, я это не я. Полученная информация отменила прежнего меня. Что она дала мне взамен? Нового меня? Посмотрим. Вот он, новый я, отягощенный знанием. Или незнанием? Я не знаю своих предков. Не знаю языка, которому положено быть моим. Не знаю Бога. Культуры. Не знаю даже родителей. Что же от меня остается? Некий генетический факт. Мало...

Стало быть, новый я — незнакомец. Мне предстоит его — себя — познать. Но прежде всего найти. Найти... Пожалуй, если встать на этот путь, он заведет слишком далеко... А я бы не хотел чересчур удаляться от прежней точки отсчета.

Да, но нельзя на ней остаться. Для этого пришлось бы игнорировать генетический факт. Это при том, что моя — моя? — ну, культура, в которой я воспитан, говорит мне, что коль скоро у тебя есть свой род, ты обязан его продолжить.

Итак, где мы стоим? Есть два Моше. Один знакомый, "свой", проживающий в привычной обстановке и говорящий на досконально знакомом языке. С другой стороны — незнакомый, состоящий из сплошных неизвестностей. Кто мои родители? Как звучит мой язык? Где мой Бог? Где мой род, земля и корни?

Нелегкая задача. Со многими неизвестными. Целая, можно сказать, область для исследования. Причем выходящего за рамки чистой теории. Не то, чтобы игра ума, но поиск, экспериментальный поиск. Да, пожалуй, мое новое "я" склонно к авантюрам.

Но интригует, интригует! Жизнь моего нового "я" обещает массу вариантов. Мое незнакомое "я" привлекает своей непредсказуемостью, в то время как в моем прежнем — нынешнем — облике нет никакой неопределенности, а следовательно — обаяния тайны.

Но зато такая очерченность и завершенность...

Постой, постой, а может быть, возможно совмещение? Или, по крайней мере, синтез? Ведь это же вполне естественно... С одной стороны, есть тот я, которого нельзя (и жалко) отменить, и есть новый, неизвестный, который тоже по-своему интересен. С одной стороны, успокоительная стабильность, с другой – интригующая новизна. Да, пожалуй, стоит попробовать синтез...

Но разве эти два "я" – не антагонисты? С какой стати? Только потому, что в данный момент Моше-египтянин и Моше-еврей находятся в состоянии вражды? (Не притворяйся, не только по этому.) Но вражда приходит и уходит, а личность остается. И разные ее составляющие могут жить в мире друг с другом. Ну, положим, не в мире, но, по крайней мере, в интересном взаимодействии. То есть в противодействии.

Да, но все это из области чистой теории. А конкретно? Конкретно предстоит сделать выбор. Все-таки, как ни крути, выбор. Либо тот я, либо этот. Какой "тот" и какой "этот"? Ну, я "до" и я "после". До и после сообщения...

Но мы же договорились, что сообщение нематериально и не меняет моего физического я. Меня настоящего...

Нет настоящего меня! Есть я прежний и я предстоящий. То, что было моим настоящим, разрушено самим фактом сообщения. Оно не материально? Тем хуже. Для обоих.

Стало быть, синтез невозможен?

Ну, может быть, и возможен теоретически, но не отменяет выбора. Диалектическая напряженность должна все-таки как-то разрешиться. Борьба разных начал не может длиться вечно. Кто кого.

Вот как? Разрешиться, говоришь, в ту или иную сторону? Легко сказать. Кто кого? А что за этим стоит? Убийство? Нет – самоубийство. Нет, все-таки, убийство. Неважно, кто кого. В любом случае – деструктивный акт. Нет, самодеструктивный акт. Более того, взаимно-само-деструктивный акт. Что, что?..

...Он устал. Умственная усталость вперемежку с досадой и неудовлетворенностью. Не та блаженная усталость, которая охватывает после того, как ответ все-таки найден и следует разрядка. Он устал от безнадежных усилий. Из этих интеллектуальных лабиринтов нельзя было выбраться. Он решил плюнуть на все это.

Он вышел из дворца и направился на стройку.

То была великая стройка. Вся цивилизация его страны воплотилась в этой стройке, которой надлежало прославиться в веках. Он пошел меж рядами строительных рабочих, отгоняя мысль, будто его что-то с ними связывает.

Какой-то надсмотрщик ударил рабочего. Началась потасовка. Он вмешался, утратил самоконтроль, убил надсмотрщика. Внезапный импульс, вспышка гнева, разрядка. Он почти с облегчением глянул на распростертое тело и с удивлением констатировал, что высвободился из лабиринтов своих усложненных рассуждений — с помощью увесистых кулаков. Теперь, когда главное препятствие — в его собственном мозгу — было устранено, все остальное было нипочем. Он мог бы перевернуть горы, чтобы освободиться — от себя и от Египта...

Позже он выполнил свой долг перед родом и Богом, вытащив свое новообретенное племя из Египта, и, увлекши его в пустыню, морочил его там сорок лет. Все медлил, все ждал, пока в народе — или в нем самом? — исчезнет память о прежнем быте, о прежнем облике. Его ребячливый народ время от времени роптал, выходил из-под контроля, творя себе нехитрых кумиров и забавляясь ими. Он же требовал, чтобы у порога новой земли исчезла память о прежней. Она действительно исчезла. Вместе с ее носителями. Новая поросль уже не была отягощена ностальгией.

Сам он остановился на пороге — и ему нельзя было отказать в последовательности, потому что он не был вполне уверен, что сорок лет карантина в пустыне окончательно вытравили из его сознания память о Египте и о себе самом. Он знал, что, переступив порог, он найдет пространство — что было ему обещано, — но не себя в нем. Его прежнее "я" было безвозвратно утрачено, а новое — недостижимо. Застряв меж двух миров — и двух обликов — было его уделом.

Он подавил в себе любопытство и остановился на пороге. Он понял, что никто не выведет его из плена собственных противоречивых ощущений. Что неповторима и уникальна освобождающая смесь вспышки, импульса и насилия. И был благодарен ей за то, что она вывела из плена его народ.

Он распрощался с сыновьями и отправился доживать свой век в попытках примириться с самим собой.

Она сама не знала, как это ей пришло в голову. Эволюция от фантазии к смутной догадке и наконец к осознанной убежденности совпадала с этапами ее беременности. И когда наконец ясной зимней ночью она разрешилась легкими родами, эта невероятная идея окончательно утвердилась в ее сознании: случилось чудо, источником которого были небеса, потому что происхождение чудес божественно, что общеизвестно. К тому же ночь была ясна, звезда сияла, младенец, как ей казалось, тоже. Чудо было неповторимо и уникально, и она подняла глаза к небу, поблагодарив Бога за то, что оно было ей даровано.

Но откуда это ощущение чуда? В конце концов, она была женщиной, одной из множества, и с ней произошло обычное, земное, сплошь и рядом повторяющееся событие. Человечество знало много верований и суеверий, можно было возводить в ранг божества и камень, и небесные светила, и животных, — но младенца? В мире было много загадок — но рождение? Люди каким-то образом более или менее ясно понимали, откуда они берутся и как появляются на свет. В этой области они непосредственно связывали причину со следствием, и тайны здесь не было.

Вокруг Мириам люди были сведущи во многом, и сама она была не глупее других. Тем не менее в ее сознании причина вдруг разошлась со следствием. Или следствие с причиной? Как бы то ни было, Мириам просто не могла связать одно с другим. В ее сознании не укладывалось, что это прелестное сияющее существо у нее на руках появилось на свет по причине банального, будничного и животного акта. Мириам, конечно, любила своего мужа, но он был всего лишь привычным спутником ее нехитрого быта, и признать его первопричиной чудесного явления младенца было невозможно.

Не надо быть ученым или врачом, чтобы понять, что Мириам заблуждалась. Но заблуждение Мириам разделяют множество женщин на свете. И наука безусловно сделает шаг вперед, если признает неспособность женщины в первые часы после потрясения родов связать следствие с причиной, то есть явление младенца с тем привычным и обычным, что происходит на брачном — или внебрачном — ложе между мужчиной и женщиной. Конечно, это счастливое помешательство заканчивается, женщина “выздоровливает” и причинная связь восстанавливается. До конца ли?

Или на подсознательном уровне связь разрушается окончательно и бесповоротно?

В случае Мириам это было окончательно и невосстановимо. Более того, Мириам к тому же еще и посмела признаться в своем помешательстве. И кому? Мужу. Плотник мог ее, конечно, высмеять. Или заподозрить в измене. Он мог счесть ее сумасшедшей или, напротив, хитрой интриганкой, делающей из него дурака своими выдумками о непорочном зачатии. Иосиф, однако, не только не поднял скандала, но вроде бы разделил с Мириам ее веру-заблуждение. Или подыграл ей? Или, глядя на женщину с младенцем, слившихся в симбиотическом – Божественном? – союзе, он ощутил свою непричастность?

Рядом с матерью и ее младенцем любой мужчина – третий лишний. Даже если он на сто процентов уверен в своей, а не “Божественной” причастности к его появлению на свет.

Мириам утверждала свою веру всем своим поведением и подвела под это атавистическое женское ощущение рациональную – или иррациональную? – базу. Этот младенец – между мной и Богом, и ни один мужчина, даже мой собственный муж, не имеет к этому отношения. Младенец – это мой женский мир, и это мир высший, потому что я произвела на свет необыкновенное дитя.

Таково было послание Мириам женщинам, мужчинам, человечеству и обществу, основанному на культе мужского начала. Мириам отказывалась видеть в младенце мужского пола биологическое продолжение (или субститут) главы семейства и рода.

Но вот что удивительно и ново: произведя на свет незаурядного, как ей казалось, младенца, Мириам отказывалась радоваться по этому поводу. То есть простой животной радости у нее не было. Невозможно представить себе Мириам сюсюкающей с младенцем или играющей с ним, как с живой куклой. У нее было сознание исключительности, знаменосности события – но радости было мало. Мириам знала, что каждый человек вынужден нести крест своего существования и что сын ее не избежит этой участи. Она знала, что каждому предстоит своя Голгофа, но не было для нее Голгофы страшнее, чем та, которая предстояла ее сыну. Да и мир, в который она выпустила свое невинное, слабое, божественное дитя, был страшен и дик. Он сможет сделать его лучше? Да, но какой ценой...

Увы, материнство и по сей день дает больше поводов для грусти, чем для радости. Миллиарды мужчин и женщин разделили печаль Мириам по поводу тяжкой участи сынов человеческих. Это возвестило начало цивилизации, утратившей варварскую невинность и животное счастье. С этих пор можно было лишь с тоской вспоминать богов и богинь плодородия с их громадными животами и грудями и победно трубящими фаллосами. Невинная ясная правда инстинктов: плодитесь и размножайтесь! — уступила место печальному знанию и коллективному неврозу. В мужественные, лишённые сантиментов отношения мужчины с его требовательным, как армейский генерал, Богом вмешалась слабая женщина с ее беспомощным ребенком и заключила с Богом свой собственный союз, не спрашивая согласия мужчины.

Жизнь с тех пор стала еще тяжелей. Но на этом печальная история Мириам, а вместе с ней и нашей цивилизации не заканчивается. Чем дальше, тем она печальнее. Мириам, прижимая к груди своего младенца, видела Голгофу, но верила и в Вознесение. Она предчувствовала распятие, но верила и в воскресение. И миллиарды мужчин и женщин разделяли с ней ее веру — или ее заблуждение.

Современная Мириам и вместе с ней наша цивилизация уже знает, что никакого Воскресения нет. А есть только Голгофа и распятие, и каждый несет свой экзистенциальный крест в одиночестве... Впереди не светит никакое вознесение, никакое спасение и никакая надежда...

Святое семейство

— Вы слышали еврейский анекдот о женщине, у которой муж — идиот, а сын — гений? — спросил профессор. — Так вот, это типичное современное интеллигентное семейство, где жена тайно или явно презирает мужа и предается культу сына, имеет в качестве прототипа не больше, не меньше как пресловутое "святое семейство" в лице Марии, Иосифа и их сына. Жена плотника вообразила, будто к зачатию ее ненаглядного сына причастен сам Господь-Бог, потому что не представляла себе, что столь незаурядный сын может иметь отцом заурядного Иосифа. Иосиф же, вместо того, чтобы выбить из головы жены эту дурь — или просто обви-

нить в измене! — потворствовал ей, что в конце концов обернулось его добровольным самоустранением. Вряд ли он был идиотом, но несомненно обладал слабым характером и не в состоянии был играть роль главы семьи.

— Но, профессор, — пробормотал сбитый с толку студент, — даже если Иосиф не был доминирующей фигурой в святом семействе, это еще не умаляет гениальности Иисуса. Ведь не хотите же вы сказать, что его незаурядность...

— Хочу, — перебил его профессор, беспощадно сверкая очками. — Именно это я и хочу сказать. Его незаурядность — плод истерического воображения женщины, делающей из мужа идиота, а из сына гения... Так называемая незаурядность Иисуса — это незаурядность юродивого, душевнобольного, наложившаяся на большое самомнение, внушенное матерью...

— Тем не менее, — возразил студент, — будь он просто "маленьким сыном", он вряд ли решился бы на бунт против истеблишмента!

— Этот бунт, — профессор скривил губы, — был результатом полной неадаптивности к жизни. Иисус был неспособен даже к простейшему акту продолжения рода, поскольку преувеличенная любовь между ним и матерью, как это часто бывает в таких случаях, сделала для него из женщины табу. Ему оставалось общение с одинокими бездельниками и бродягами, на которых он производил впечатление своим краснобайством. Это было, вероятно, гомосексуально окрашенное общение платонического типа...

— Профессор, — снова перебил студент, — это даже не гипотеза...

— Это предмет для исследования, — строго сказал профессор. — Как и любая догадка. В поисках истины нельзя останавливаться ни перед чем.

— Он сражался против римлян, профессор, — обиженно произнес студент.

— В тогдашней Иудее это не было чем-то из ряда вон выходящим. Любая тамошняя секта противопоставляла себя римлянам... Перманентное восстание против Рима было частью иудейской ментальности, и в этом плане поведение Иисуса было типично иудейским.

— А его героическая смерть? Она-то ведь была незаурядной!

— Вы хотите сказать, его случайная смерть? Да если бы не это

плохо мотивированное теологами предательство — ведь не из-за тридцати же серебряников, на самом деле! — Иисус продолжал бы разглагольствовать в синагогах, изредка совершая свои вылазки на улицы, эти свои “явления народу”...

— А вы — чем мотивируете вы предательство Иуды? — заинтересованно спросил студент.

— Чем можно мотивировать предательство? — пожал плечами профессор. — Если оно вообще было, это предательство! Речь идет о полушайке, полусекте — в те времена грань между этими двумя социальными образованиями была весьма условной — и не исключено соперничество между признанным вожаком и претендующим на эту роль...

— А учение? — настаивал студент. — Ведь вождь полушайки-полусекты, как вы это называете, был идеологом учения, роль которого вы не станете отрицать...

— Стану, — решительно отозвался профессор. — Стану. Учение было набором наивных сентенций, плодом незрелого ума.

— Но большая часть цивилизованного человечества отождествила себя с ним!

— Это проблема большей части цивилизованного человечества — иронически улыбаясь, парировал профессор.

— И Иисуса, сына человеческого, — заметил студент, — ответившего за все заблуждения людей...

Но профессор не склонен был оставлять студенту даже эту последнюю лазейку.

— И этого не было, — сказал он. — Даже этого. Вряд ли столь многие сумели бы отождествить себя с так называемым учением Христа, если бы этому не предшествовал переворот, центральной фигурой которого была заговорщица Мириам.

— Этот символ чистоты и невинности? — вскричал потрясенный студент. — Мириам — заговорщица?!

— Еще какая! — усмехнулся профессор. — Вначале было стремление разрушить авторитет отца в лице Иосифа. Но Иосиф был всего лишь суррогат. Мириам метила дальше, вы догадываетесь, наконец, в кого?

— Бог-Отец был крупным орешком, — прошептал студент. — Он безраздельно владел умами верующих...

— Вот-вот! — торжествующе воскликнул профессор. — В этом и состоял истинный заговор Мириам, и куда до него простенькой античной сказке! Мириам замышляла не банальный переворот в

стенах дворца, а переворот в умах человечества. И все для того, чтобы сделать царем своего сына. Вначале она отстраняет истинного отца — Иосифа, понимая, что реальное происхождение Иисуса не дает ему шансов захватить всеобщее человеческое царство. Она смело приписывает отцовство самому царю — то есть Богу, чтобы ко времени возмужания сына совершить еще одну, на этот раз решающую подмену: Бога-Отца Богом-Сыном!

— Как бы то ни было, — сказал студент после непродолжительной паузы, — сын оказался достоин царского венца...

— Чушь! Эта ноша в виде креста была непосильной. Бедный мальчик пал жертвой материнских амбиций. К тому же...

Он не успел закончить фразу. Студент внезапно вскочил и извлек из кармана пистолет.

— Профессор, — торжественно произнес он, — вы подложили бомбу под центральный памятник нашей цивилизации!

— Слишком поздно, мой мальчик, — проговорил профессор, со спокойным любопытством наблюдая, как студент целится ему в грудь. — Не надо патетики. Эта бомба так или иначе взорвется. И все-таки...

Раздался выстрел.

ДВОЕ НА ОСТАНОВКЕ И ЧИТАТЕЛЬ

— Как дела? — спросил читатель, встретив меня на улице. — Нашла новую форму?

— Да как тебе сказать, — ответила я, — как тебе сказать... — и поглядев на него, посетовала: — Что от тебя осталось?

Он развел руками:

— А ты чего ожидала? Мне осточертели твои эксперименты.

— Мне тоже, — призналась я. — Я бы с удовольствием написала рассказ, который начинался так: "Однажды, теплым сентябрьским вечером, он возвращался домой и на автобусной остановке увидел ее..."

— Кого ее? — спросил читатель. — Ту самую?

— Ну да, — подтвердила я, — ту самую, которую давно не видел.

— Как давно? — спросил он с интересом.

— Ну, лет десять...

— Пятнадцать! — поправил он.

- Двенадцать, ладно?
- Ну и?
- Что "ну и"?
- Что дальше?
- "Поколебавшись, он наконец решился..."
- Заговорить?
- Нет, приблизиться, — поправила я. — "Их взгляды встретились..."
- Ну? — сказал читатель, глядя на меня с выжидающим видом.
- Продолжения не последует, — вздохнула я.
- Почему? — обиделся он. — Почему ты не можешь выдать мне нормальный читабельный кусок? Я устал вечно бегать за тобой по твоим интеллектуальным лабиринтам, упираясь в тупики твоих дилемм. Я имею право отдохнуть, расслабиться...
- Не со мной, — сказала я. — Что поделаешь. Для меня творить — означает творить нечто новое.
- А я при чем?
- А ты переверни страницу.
- И не подумаю.
- Переверни, — попросила я. — Я вовсе не против того, чтобы тебя развлечь.
- Вот это ты умеешь, — проворчал он, — заставить переворачивать страницы. Пообещаешь, заинтригуешь — и ничего не дашь.
- А чего бы ты хотел?
- Действия, сюжета!
- Ты не можешь сказать, что я пренебрегаю сюжетом, — возразила я. — Или композицией. Я не авангардистка какая-нибудь.
- Да, — нехотя согласился он. — Я остался доволен твоим "Двойным дном". Но с тех пор прошло много времени, и теперь ты предпочитаешь, чтобы действовали идеи, а не люди. А твои сюжеты сводятся к поискам выхода из ситуаций, о которых заранее известно, что они безвыходны. Я же, со своей стороны, предпочел бы узнать, что произошло с этими двумя...
- Какими двумя?
- Ну, теми, которые встретились на автобусной остановке. Он решился с ней заговорить?
- Конечно, — сказала я, — иначе не было бы рассказа. "Он пошел к ней и..."
- Погоди, погоди! — прервал читатель. — Ты забыла описать, как она выглядит!

— Ты что, первую женщину в рассказе встречаешь? Сам знаешь, как она выглядит!

— Стройная, груди упругие, да? Талия... словом, все на месте, да? А глаза? Голубые, карие?

— Можно голубые, — ответила я, — можно и карие.

— Ну, и что он ей сказал?

— А что ты хочешь, чтобы он ей сказал?

— Ну, это зависит от того, что между ними произошло лет двенадцать назад, — резонно заметил он. — Важно, на какой почве произошел разрыв...

— Ах, разве в этом дело! — отмахнулась я. — Мало ли почему люди расстаются? Есть много причин, можешь выбрать любую.

— Она ему изменила? Нет, это, пожалуй, банально. Она хотела делать карьеру, а он хотел строить семью... И чтоб она сидела дома. Хотя... разрыв на этой почве выглядит искусственным... Спротивление родителей? Хотя нет — я знаю. Они много лет были вместе. Потом он уехал в заграничную командировку. Там ему кто-то подвернулся, и он вынужден был жениться... Нет, и это не убедительно. Может, у них была просто мимолетная связь?

— Может, — согласилась я.

— Постой, постой, я кажется понял! Они просто принадлежат к разным социальным слоям, и оттого брак между ними был мало вероятен. Разрыв произошел на социальной почве.

— Я это учту, — заметила я. — Если хочешь, я могу подключить и этнический момент.

— Не надо, — возразил он. — Это придаст рассказу слишком локальный колорит. Но я хочу, чтобы он занимал какое-то положение. Не то, чтобы очень высокое, но все же...

— Солидный человек, а едет автобусом. Где его машина?

— Она в этот день в гараже. Оттого он и оказался на остановке. Сидел бы в машине, и никакими случайными встречами бы не пахло, по себе знаю. Но не в этом дело. Скажи, она, как я понимаю, замужем?

— Этого наш герой еще не знает.

— Надо выяснить.

— Смотри, если она замужем, рассказом вряд ли отделаешься. Но может получиться роман. Я имею в виду — между ними. Хороший, толстый роман с выяснением отношений, ревностью, переживаниями... В конце может быть даже хэппи-энд.

— Давай, пиши роман! — потребовал он. — Я хочу знать, как оно повернется у этих двоих. Я отождествляю себя с героем.

— Хватит с тебя рассказа, — отрезала я. — На такую тему. Впрочем, и этого много.

— Начала — продолжай! — обозлился он. — Я имею право знать, как она жила все эти годы? Что у него произошло с женой? Как далеко зашли их отношения?

— Сходи к соседке, — посоветовала я. — Она в курсе дела. Она расскажет.

— Да, но я хочу, чтобы это было сделано литературным способом...

— Литературным способом захотел, ишь ты!

— Слушай, — рассердился он, — неужели ты не можешь, хотя бы однажды, составить нормальный рассказ без всяких фокусов? Имею я право знать, что он ей сказал, или нет?!

— Он сказал ей: "Здравствуй..." Она ответила. "Ты совсем не изменилась за эти годы", — добавил он. Она ничего не сказала в ответ. Она не могла возвратить ему комплимент. Выглядел он явно неважно.

— Да, — вздохнул читатель, — двенадцать лет жизни — небольшой срок. Она, наверно, помнила его другим. Скажи, — он ожил, — между нами говоря, она выглядит лучше, чем его жена, а?

— Ну, как тебе сказать... — начала темнить я. — Подруга молодости, да еще такая, которая за эти годы ничуть не изменилась...

— Ладно. Что дальше? Он предложил ей встретиться как-нибудь? Поговорить? Вспомнить прошлое?

— Да, пожалуй. Она сначала поколебалась, а потом подумала: "Почему бы и нет..."

— Действительно. А она одна?

— Этого ни он, ни ты пока не узнаете.

— Ну, и когда они встретились?

— Через несколько дней, когда он получил машину из гаража.

— Что он сказал жене?

— Что у него деловой ужин.

— И она поверила? Впрочем, для человека с положением, который занимается делами, это вполне естественно... Итак, они встретились в ресторане? Заказали ужин? При свечах?

— Пусть будет при свечах. "Вначале он был несколько скован.

О своих семейных делах предпочитал не говорить, о ее — не спрашивать. Рассказал о своих успехах. Она вела себя безупречно. Никаких упреков, никаких жалоб. Придерживалась стиля "встреча старых друзей". Легкий ужин, немного шампанского, немного ностальгии. Совсем чуть-чуть".

— Так оно и не выходит за рамки? Неужели его к ней совсем не тянет? Молодая, красивая, слегка загадочная и все же не чужая... Неужели ему не интересно спросить ее...

— Погоди, погоди, не надо форсировать события.

— Если ты будешь так тянуть, мы не доберемся до главного.

— До какого главного?

— Ну, должно же между ними что-то произойти, нет? Пусть выпьет еще немного, дольет ей, возьмет ее руку в свою...

— Знаешь, твори себе сам свои сюжеты, развивай их в фантазиях — или в жизни... Зачем тебе я?

— Но я хочу, чтобы ты показала мне эту пару под особым углом зрения. Чтобы ты психологически вскрыла, так сказать.

— Что ж, произведем психологическое вскрытие. Как ты сам догадался, наш герой приближается к тому критическому возрасту, когда мужское эго становится несколько более ранимым и нуждается в стимулах, повышающих самооценку. Эти психологические признаки беспокойства, имеющие под собой биологическую основу, могут накладываться на некоторую усталость от рутины, прежде всего — семейной. Некоторые мужчины компенсируются усиленным наращиванием профессиональной активности, что тоже может привести к дополнительному стрессу, связанному со сверхожиданиями. С другой стороны, усиливается ощущение беспокойства вместе с осознанием настоящей ситуации, как ситуации "сейчас или никогда"... Впрочем, ты все это прекрасно знаешь сам. И кроме того, на эту тему написано столько профессиональной литературы...

— Да, но я хочу, чтобы ты облекла все это в художественную форму.

— Моя художественная форма слишком хороша, чтобы заполнять ее таким банальным содержанием.

— Издеваешься?

— Я была о тебе лучшего мнения.

— Пойми, я устал. Я хочу расслабиться и буду тебе очень благодарен, если ты на время перестанешь экспериментировать за

мой счет. И перестань вовлекать меня в свои творческие проблемы.

— Может быть, — спросила я с надеждой, — мы можем прийти к какому-нибудь компромиссу?

— Пожалуй, — согласился он. — А ты могла бы, например, построить рассказ из нескольких смысловых этажей? И предоставить мне выбор — подниматься на верхний или довольствоваться нижним?

— И при этом ты настаиваешь на незатейливой истории, которых в жизни тринадцать на дюжину?

— Чтобы история была простая, но подоплека сложная, понимаешь? И чтобы на этот раз без всяких аллегорий?

— Испортили мне тебя, — вздохнула я.

— Ладно, вернемся к этим двоим. Где мы их оставили?

— В ресторане. Они заканчивают ужин. "Он посмотрел на часы, лихорадочно соображая, до какого безопасного предела он может растянуть "деловую встречу". От нее не укрылся его жест, и чтобы опередить события, она сказала: "Нам пора расходиться. Закажи кофе". "Ты спешишь?" — спросил он с деланным удивлением. Он уже понял из их разговора, что она не замужем и что семьи у нее нет. Но ему показалось бестактным расспрашивать о подробностях. Все же он не удержался: "Скажи, ты живешь одна?" "Я живу одна. Но у меня есть друг, который ожидает развода..."

— Знаем мы этих друзей, которые ожидают развода, — прокомментировал читатель.

— ..."Он почувствовал, как ни странно, что-то вроде облегчения. Друг, ожидающий развода, был абстрактным понятием. Открывались дополнительные возможности. Еще можно было закончить игру, но можно было и продолжить. И при этом рискнуть. Официант принес им кофе. Она захотела закурить. Он поднес ей зажигалку и, воспользовавшись случаем, нежно дотронулся до ее щеки. "Знаешь, я конечно не вправе это говорить, но я так и не смог забыть тебя... Даже не столько тебя, сколько того, что связано с тобой. Говоря откровенно, так, как было с тобой, не было больше никогда..."

— Итак, он все эти годы помнил о ней, оказывается!.. Ну-ну... И что, она клюнула на эту удочку?

— Вполне могла бы клюнуть. Знаешь, как приятно сознавать — ага, он жалеет, понял, что ошибся... Но мы не пойдем по этому

пути. "Я слышала, что у тебя прекрасная жена и ребенок". "Двое", — поправил он. "Значит, мои данные устарели? Ты, должно быть, счастлив в семейной жизни?" — "Да как тебе сказать..."

— А он, что, действительно счастлив в семейной жизни?

— Наверно. Но он сам об этом не знает. "Он слегка опьянел и разволновался. Вне всякой связи с воспоминаниями прошлого, которые впрочем не были такими уж яркими, эта сидевшая напротив женщина ему очень нравилась. Он протянул руку и погладил ее по стриженным волосам. "Ты стала очень элегантной", — сказал он, только сейчас отдав себе отчет, что одета она с небрежным шиком, а ее украшения выглядят дорогими. Она прекрасно держалась, манеры были безупречными — он ее такой не помнил".

— Старая история, — усмехнулся читатель. — Незначительная в социальном плане девушка неожиданно повысила свой статус и оттого стала более интересной в глазах бывшего любовника. Он конечно же будет ее добиваться, и она возьмет свой реванш. Почти Онегин и Татьяна...

— Что поделаешь, — вздохнула я. — Вариантов не так уж много, и все они предсказуемы. Я не вижу смысла продолжать.

— Потому что ты не умеешь сделать неожиданного хода, завершить непредсказуемым финалом...

— Умею, — возразила я. — Но непредсказуемый финал тоже на самом деле предсказуем. В этом жанре он учтен и вычислен. На какой неожиданный финал ты можешь рассчитывать, если ты заранее знаешь, что он должен быть неожиданным?

— Ладно, в конце концов это не ребус, ты права. Давай дальше. Как насчет номера в отеле?

— Какого номера?

— Ну, у него все время крутится в голове: взять номер на час или нет, согласится она или нет?

— Этого я тебе не рассказывала.

— Я сам домыслил.

— Прекрасно. Вот что такое догадливый читатель. Конечно же, собираясь на свидание, он на что-то рассчитывал, во всяком случае подсознательно.

— С другой стороны, взрослый мужчина должен понимать, что восстанавливать прежнюю связь — гиблое дело. Никогда нель-

зя вернуть то, что было. Это ясно. Кроме того в его положении это вообще бессмысленно.

— Ты хочешь, чтобы увидев на автобусной остановке свою прежнюю подругу, которая не только не постарела, но и стала значительно интересней, он еще и рассуждал? Он поступил импульсивно.

— Да, но дома и по дороге на свидание у него было время подумать.

— И повернуть обратно?

— Ну, нет, зачем же такие крайности...

— Так вот, он решился наконец, наш герой: "Послушай, — сказал он, — я не буду вести с тобой дешевую игру. И предупреждаю сразу: я связан по рукам и ногам. Но эта встреча — случайность, которая может обернуться подарком от жизни, во всяком случае — для меня. Давай закажем номер в гостинице и устроим праздник на час..."

— Что ж, — прервал меня читатель, — надо, конечно, использовать случай, который никогда не повторится. А если повторится — тем лучше. Кто знает — может, она даже согласится на упороченную дискретную связь?

— Посмотрим. "Поехали ко мне домой, — сказала она, и у него даже перехватило дыхание от неожиданности. — У тебя есть два часа времени?". У него, конечно, не было — подходил срок его предполагаемого возвращения домой. Но на радостях он готов был рискнуть — будь что будет.

"Когда перед его машиной раскрылись ворота и в глубине густой листвы показался роскошный дом, он не мог сдержать возгласа удивления: "Ты здесь живешь?" Она кивнула. Он пожал плечами. Они пошли по аллее — сквозь ее листву просматривалась просторная лужайка, где фосфоресцировал бассейн — и поднялись по мраморной лестнице. Вошли в дом. Он терялся в догадках. На него производила впечатление не столько вилла — дела приводили его и в более богатые имения, — сколько тот интригующий факт, что она принадлежала его бывшей скромной подруге. Он почувствовал себя задетым. Он сам не понимал, почему..."

— Я тоже не понимаю, — заметил читатель.

— "...Она не стала разыгрывать из себя гостеприимную хозяйку. У нее хватило такта не устраивать для него экскурсий по до-

му. Она привела его прямо в спальню. “У тебя мало времени, — сказала она, — и мы все-таки не чужие...”

— Молодец, — похвалил читатель. — Уважаю таких женщин.

— “...Располагайся, — сказала она и вошла в ванную, оставив дверь полуоткрытой. Он сел в кресло, закурил. Подумать только, усмехнулся он про себя, в свое время эта незначительная, хотя и смазливая девочка сочла бы большой удачей, если бы он на ней женился. Но ей, видимо, достался более крупный выигрыш. Интересно, как это ей удалось? Вышла замуж за богача и развелась? Овдовела? Или открыла свое дело, стала на ноги и разбогатела? Он почувствовал себя не в спальне прежней — будущей — любовницы, а на беговой дорожке жизненного соревнования. Двенадцать лет назад они вместе выходили на старт. И она его опередила. Ох, эти женщины!”

“Она вышла из ванной голая. Сидя в кресле, он внимательно оглядел ее. Сохранила фигуру. Ноги, грудь — все, как прежде. Даже лучше, кажется. Она хорошо выглядит, это ее дополнительный козырь. Ему же нечем похвастаться. Пусть погасит свет, тогда он разденется. Но она включила боковой свет. Выжидающе посмотрела на него. Улыбнулась”.

“Стерва! Он сейчас ей покажет! Он ей докажет, что он в хорошей спортивной форме. Он резко поднялся с кресла, подошел к ней, порывисто обнял. Даже пожалуй чересчур порывисто. Руки плохо слушались его. Он осторожно отстранил ее. Вернулся в кресло. Почувствовал себя уставшим, отяжелевшим и побежденным. Трезвым к тому же. Что я делаю в этой роскошной спальне, с совершенно чужой женщиной, с которой я даже не знаю, о чем говорить? Он посмотрел на часы. “Мне пора, — сказал он. — Ты не обижайся. Я не гожусь сейчас в любовники на одну ночь. Но все равно приятно было встретиться с тобой, — добавил. — Я пожалуй пойду. Спокойной ночи...” — “Спокойной ночи, — ответила она, восприняв его поворот от ворот довольно спокойно. — Не огорчайся, бывает”.

— Идиот, — коротко сказал читатель.

— “...Идиот, — думал он про себя по дороге домой. — Какой же я, однако, был идиот!”

— Это он про сейчас или про тогда?

— Кто его знает...

— Думаю, из нее бы получилась прекрасная жена. Сколько шика, какой класс! Такая жена — уже полкарьеры.

— Это ты так думаешь, не он.

— А он что? Не понимает, что потерял? По крайней мере, он должен был использовать то, что само шло ему в руки. Кто ж отказывается от такой любовницы? Ведь была же надежда на продолжение связи...

— С ней? С богатой, красивой, независимой? Что он может ей дать?

— Может, она одинока?

— Ну, и что с того, если он будет разделять ее одиночество в течение нескольких часов в месяц, выкроенных между домом и работой?

— Да, пожалуй... Но я все-таки плохо понимаю ее. Что она думала, глядя ему вслед?

— Ну, может быть, что-то вроде этого: "Ах, какая я была идиотка! Если б не его случайное пренебрежение, я могла бы сейчас быть женой этого второразрядного служащего. Я бы не встретила свое счастье, свою удачу — того, кто поставил меня на ноги, из тогдашней провинциальной девочки превратил в богатую, светскую, уверенную в себе женщину..."

— Кто такой? Ты же вроде намекала на наследство!

— Так ты и поверил! Где ты видел, чтобы бедные девочки вдруг получали такое наследство?

— А где ты видела, чтобы бедные, брошенные девочки так запросто находили себе прекрасных принцев? Так я и поверил в эту историю с "найденным счастьем"!

— Не хочешь — не верь. Пусть будет так: "Она смотрела ему вслед, испытывая что-то вроде злого торжества. Пусть себе! Пусть грызет себя за то, что упустил такую даму! С наследством притом! Ах, дурак, дурак... Пусть посидит в своей многокомнатной новостройке, со своей домохозяйкой-женой и помечтает о несостоявшихся любовных утехах. Так ему!"

"Она тщательно повесила в шкаф одежду, спустилась в холл, придирчивым взглядом оглядела помещение. Завтра из-за границы приезжали ее хозяева, и надо было еще многое привести в порядок. Она заперла двери и прошла в помещение для прислуги. Прежде чем заснуть, завела будильник — завтра нужно было рано вставать. И все-таки, — подумала она засыпая, — он все равно много потерял. Больше, чем сейчас думает..."

— Вот как, оказывается? — спросил читатель.

— Можно и так, — сказала я. — А можно и иначе. Никакого со-

противления материала. Это как чернильница — хочешь, так поверни, хочешь — этак.

— Ты меня разочаровала немного...

— Ну, что — хочешь продолжать играть в эти легкие жанры?

— Почему бы и нет, — сказал он. — Я неисправим. У тебя есть в запасе еще какая-нибудь пара? Может получится что-то более увлекательное?

— “Это старая игра, — ответила я словами из старой песни, — и ты не можешь ничего придумать, что до тебя не делали другие...”

— “Единственное, что тебе остается, — играть хорошо”, — подхватил он, и мы оба рассмеялись.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?

Ян Прохазка

Плохие свойства человека как такового?

Плохие руководители? Плохие народы? Плохая история?

Может ли

централизованное в масштабах государства

производство и распределение

существовать с правами человека

и со свободным обращением

информации в обществе?

И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ?

На эти вопросы отвечает

КНИГА ДОРЫ ШТУРМАН

“НАШ НОВЫЙ МИР”

ФОРМА. ЭКСПЕРИМЕНТ. РЕЗУЛЬТАТ

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность “подпольного” анализа.

Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл., авиапочтой — в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу.

S. Tictin, 422/6 Mizrahk Talpiot, Jerusalem 93802, Israel. Tel. 02-721633.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

— В недавнем интервью для нашего журнала Виктор Богуславский, активист еврейского движения 60-х годов, заметил, что в его времена движение еще не было по-настоящему сионистским — в том смысле, что еще не видело реальной возможности алии. Оно было, скорее, "еврейским" и свою главную задачу видело в пробуждении национального самосознания. Вы пришли в движение позже, в начале 70-х. С чего начинали вы — с еврейства или с сионизма?

— Я думаю, у меня приход к тому и к другому произошел почти одновременно. Первые двадцать лет жизни я был обыкновенным советским ассимилированным евреем, который считает, что он еврей лишь постольку, поскольку существует такой исторический "предрассудок", который называется антисемитизмом. А во всем остальном — какой же я еврей? Я — русский. Мой язык русский, моя любимая литература — русская, все мои корни в России. Конечно, меня не устраивало многое в советской жизни — отсутствие демократии и тому подобное, — но это было, так сказать, "общедиссидентское недовольство", оно не было связано с моей национальностью...

Критическим для меня был 67-й год. Не то, чтобы я тут же стал "настоящим евреем" — в смысле возвращения к еврейской традиции, культуре, истории — это понятно, но я тогда

Анатолий Щаранский

ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ ЖУРНАЛА "22"

впервые ощутил что-то вроде глубокой еврейской солидарности и гордости — за еврейское государство и за евреев вообще, потому что я вдруг почувствовал, что в этот момент все мы заодно, и противостояние Израиля арабам — это как бы и наше, советских евреев, противостояние советскому антисемитизму.

Ну, потом был 68-й год, Чехословакия, и это тоже было серьезным толчком, потому что тогда я внезапно ощутил явную разницу между собой и окружавшими меня неевреями. Я помню, все мои друзья по Физтеху — либералы, демократы, Синявского с Даниэлем почитывали — вдруг стали говорить, что не для того, мол, мы русскую кровь проливали, чтобы теперь Чехословакию отдавать, чтобы чехи нам указывали и так далее. Такие совершенно имперские соображения... Я почувствовал, что мне это абсолютно чуждо. Не просто я этих взглядов не разделяю — я вообще вижу мир иначе. А они не понимают того, что мне кажется совершенно очевидным. Я впервые задумался тогда над этим своим отличием от других, и к моему сионизму добавилось ощущение какой-то принципиальной разницы между моим, еврейским сознанием и национальным сознанием русских людей.

Примерно в то же время вокруг меня впервые появились люди, которые всерьез готовились к отъезду в Израиль. Хотя я учился в Москве, но родом был из Донецка и каждое лето возвращался туда к родителям. На Украине уровень антисемитизма был очень высок, и оттуда первые семьи уже стали переезжать в Прибалтику, где, говорили, выезд стал реальностью. В общем, жизнь буквально со всех сторон толкала к размышлениям. И к тому моменту, когда я заканчивал институт, я уже в принципе решил, что из России я рано или поздно все равно уеду. Вот тогда я впервые пошел к московской синагоге — искать себе подобных, и уже там начал приобщаться к еврейству. Мика Членов стал моим первым учителем иврита. Я до сих пор помню, с каким восторгом я окунулся во все это — изучение языка, еврейскую историю, праздники, традицию...

В каком-то смысле получается, что к сионизму я все-таки пришел немного раньше, чем к еврейству, что сионизм был для меня путем возвращения к еврейству. Но сегодня, оглядываясь, я думаю, что многое из моего еврейства было заложено в меня уже в нашей семье. Наша семья была хотя и ассимилированной, но еврейской. Во мне всегда воспитывали — ну, если не чувство гордости за свое еврейство, то во всяком случае мысль, что своего ев-

рейства ни в коем случае нельзя стыдиться, что антисемитам ни за что нельзя уступать. Я помню, как в детстве, когда умер Сталин, отец объяснял мне, насколько это хорошо для нас, евреев. Мой отец был простой советский журналист, но по роду занятий часто сталкивался с разными отрицательными сторонами советской жизни. И вот что интересно — дед у меня был стопроцентный сионист и всю жизнь мечтал, что его сыновья уедут в Палестину. Старший сын действительно поехал туда (сейчас он уже глубокий старик и живет в Штатах, но я надеюсь, что он вернется доживать свои дни в Израиль). Следующим должен был поехать мой отец, но он так увлекся революционными идеями “счастья для всех”, а не только для евреев, что стал абсолютно лояльным советским гражданином. Прозрение начало приходить к нему только во времена ежовщины. Тем не менее он пошел на фронт добровольцем. И там он впервые столкнулся с антисемитизмом. А потом были еще послевоенные события: “дело врачей”, убийство Михоэlsa — так что, в общем, он не случайно радовался смерти Сталина. Получается, что я никогда не был так уж начисто изолирован от еврейских проблем и от своего еврейства, даже независимо от антисемитизма.

— Чем же был для вас сионизм?

— Тогда это было для меня формой еврейского национализма. Я потом, на суде, так и говорил — двадцатый век это век национально-освободительных движений, вот и сионизм — это национально-освободительное движение для евреев. Но сегодня я думаю — опять же, это мое личное мнение, многие это так не воспринимают — я думаю, что в сионизме отразилась еще и избранность нашего народа. Я знаю, об избранности говорят много и по-разному, но для меня она приемлема только в одном плане — как повышенная моральная ответственность. Как миссия. Вот и сейчас — мы создаем государство в совершенно невероятных условиях, в каких еще никто на это не решался — и при этом еще заботимся о сохранении прав человека, о своем моральном уровне. Нам, видите ли, мало... Я думаю, тут проявляется присущее нам повышенное чувство моральной ответственности. И в этом смысле мы действительно “приближены к Богу”. Поэтому к нам, соответственно, значительно больше требований морального порядка. Я очень сильно почувствовал эту моральную ответственность в лагере, в тюрьме. Мне часто приходилось там выступать в роли “третьей судьбы”, и я все время сознавал, что выполняю

именно ту духовную миссию, для которой наш народ "избран". Я — как сионист, как еврей, вернувшийся к своим корням, — осуществляю ту функцию избранничества, которая на нас, евреев, возложена. И может быть, моему "суду" доверяют именно потому, что сознают это...

— В Израиле сейчас все больше говорят о "кризисе сионизма", но тут сионизм понимают прежде всего, как политическую программу действий, вы же говорите о своем приходе к сионизму как о переломном моменте, скорее, в психологическом смысле. Что это был за перелом, что изменилось в вашем мироощущении?

— Я бы сказал так: главное изменение, которое я ощутил, — это освобождение. Я наконец-то стал самим собой.

— Стали "равны" самому себе, как человеку и как еврею?

— Вот именно. Я ощутил, что пришел во внутреннее согласие с самим собой, стал тем, кем всегда был, но открыто быть не решался. Я избавился от постоянного разлада между мыслью и поведением, от того двоемыслия, которое меня постоянно мучило, и впервые в жизни стал вести себя в соответствии и со своим сердцем, и со своим разумом. Я мог говорить то, что думал, мог действовать так, как мне подсказывала моя совесть, мог жить в соответствии со своей особой еврейской ментальностью. Короче, я стал свободным человеком несмотря на то, что жил в несвободной стране. И это чувство внутренней свободы пришло ко мне именно с того момента — примерно с 73-го года, — когда я приобщился к сионизму и осознал себя евреем, когда я "принял" свое еврейство и сионизм. С тех пор для меня эти понятия — сионизм и свобода — как-то слились в одно.

Вы правы — одно из самых печальных моих открытий в Израиле это здешнее отношение к сионизму. Вообще-то у меня здесь было много печальных открытий, но я должен сказать, что в целом я еще "не успел разочароваться", как некоторые. Напротив — жизнь в Израиле буквально каждый день доставляет мне огромное удовольствие. Но отношение к сионизму в Израиле — действительно, одно из самых печальных моих открытий. Некоторые друзья даже посоветовали мне перестать употреблять это слово: в Израиле, мол, говорить о сионизме — все равно, что в СССР о "покорении целины"...

— Ваши друзья, я думаю, не вполне правы. В Израиле есть множество людей, для которых сионизм остается живым и важным понятием. Но это другой разговор. Для вас сионизм был освобождением, индивидуальным "исходом из рабства". Видимо, это можно пережить только в условиях рабства, в СССР?

— Да, я думаю, что, скажем, молодой американский еврей — или даже молодой израильтянин — ощутить этого не могут. То состояние двоемыслия, в котором мы выросли, им не знакомо, а ведь для всех нас оно было чудовищным бременем. Только освободившись от него, я понял, как сильно оно нам портило всю жизнь, как оно нас калечило. Но с другой стороны, молодой западный еврей тоже ведь живет не вполне свободно. Общество потребления навязывает ему свои стандарты, и у него тоже может возникнуть стремление освободиться, приобщиться к чему-то важнее, чем деньги и вещи.

— В принципе, это, может быть, и верно, но на практике соблазн плыть по течению, с массой, зачастую сильнее стремления к свободе. Это глубоко по-человечески. К тому же свобода означает мучительную необходимость постоянного выбора пути, не так ли? Ведь ваше толкование сионизма предполагает не просто внутреннее освобождение, но и более глубокий перелом — превращение из массовидного "винтика" в индивидуальную личность, которая сама распоряжается собой, верно?

— Да, вы правы. И я бы сказал, что как раз этим сионизм особенно страшен для советской системы. Эта система не может позволить человеку чувствовать себя свободным от нее, самому решать за себя, это для нее смертельно опасно...

— Как же происходило это "становление личности" в вашем случае? Что вы делали, войдя в движение, как выбирали свой путь?

— Вначале были, я помню, первые волнующие, радостные встречи у синагоги, где мы обсуждали все свои дела. Потом появился новый круг друзей, единомышленников, началась очень активная жизнь, очень интересная, увлекательная, захватывающая... Затем я "открыл" для себя семинары ученых-отказников — тогда такие семинары были у Лернера, у Воронеля — и начал на них ходить. Примерно в то же время сложилась традиция ездить в лес отмечать еврейские праздники. И еще одно из самых ярких первых впечатлений — встреча с израильскими спортсменами на Универсиаде 73-го года, когда нам пришлось буквально кулаками доказывать свою солидарность с Израилем...

— Вы драчливый человек?

— Нет, я не драчливый. За всю жизнь мне пришлось драться всего один раз — кто-то обозвал меня "жидовской мордой", и я полез в драку, с тех пор у меня немного переломан нос... Но потом мне пришлось несколько раз быть в свалке, и первый раз был именно тогда, на Универсиаде, когда мы подняли плакат с приветствием Израилю, а на нас полезла разъяренная толпа ге-

бешников и переодетых солдат, которых специально присылали на матчи израильской команды, под видом "зрителей". Это была запоминающаяся свалка. Мы тогда вышли из нее с чувством настоящей приобщенности к борьбе за Израиль и за наши сионистские идеи.

Вообще, жизнь в еврейском движении была тогда необычайно бурная: семинары, праздники, изучение иврита, встречи с израильтянами, с американцами, активные действия... Мне даже как-то не верилось — каких-нибудь два месяца назад я еще был лояльным советским гражданином, который боится вслух сказать, что слушает "Голос Америки", и вдруг — такая свобода! Перепад давлений был буквально фантастический. У меня было ощущение, будто у меня ветер шумит в ушах от той скорости, которую я набрал. Слово я с ходу ворвался в какую-то совершенно другую жизнь, невероятно бурную, невероятно интересную...

— А ощущения потери у вас не было? Все-таки вы кончали Физтех, там кипела интеллектуальная жизнь, вы готовились стать ученым...

— Безусловно, определенная потеря была. Семинары Лернера и Воронеля, конечно, не могли заменить той напряженной интеллектуальной жизни, которая была на Физтехе. Но чувство духовного приобретения, полноценной духовной жизни было настолько сильным, что чисто интеллектуальные потери казались чем-то второстепенным, незначительным. А кроме того, я ведь тогда еще рассчитывал стать ученым, у меня еще были определенные амбиции, мне просто казалось, что вскоре я смогу их осуществить в более благоприятной обстановке, на Западе... Так что чувства сожаления у меня не было.

— Я имею в виду и другого рода "потери". У меня был как-то разговор с одним московским евреем, кандидатом наук — он потом уехал из Израиля, — и он рассказывал, что всю жизнь считал "еврейским народом" тех кандидатов и докторов наук, с которыми общался в библиотеках и на семинарах, а когда в Вене увидел горских, бухарских, даже кишиневских евреев, то испытал нечто вроде шока — это и есть еврейский народ?! Вы тоже открыли для себя "другой" еврейский народ, когда пришли к синагоге?

— Нет, у меня этого не было. Мне кажется, я всегда знал настоящий "народ". Видите ли, у нас была очень демократичная семья, всегда приходило множество людей — поговорить с отцом, посоветоваться с мамой, — и вообще, мы были воспитаны, я бы сказал, в "американском" духе, когда каждый человек, который не гнушается труда, считается достойным уважения.

Мне Наташа рассказывала недавно, что им в ульпане, в 74-м году, предложили поехать на лето горничными в Эйлат — подзаработать и заодно отдохнуть. И согласились только она и несколько молодых богатых американок. Зато еврейские девушки из Союза — те просто возмутились, что им, видите ли, предлагают работать простыми горничными. Понимаете, у богатых американок это, извините за лагерное выражение, не считается "за падло", а у наших такая вот искалеченная ментальность... Я думаю, это вообще характерно для России. Хотя общество там объявляется бесклассовым, но чувство иерархии развито тем не менее очень сильно. Я, к счастью, был от этого защищен еще с детства. И наше движение меня соблазнило, кроме всего, еще и своей демократичностью. Как-то так получилось — может, по моему темпераменту, — что я сразу попал в группу так называемых "хунвейбинов", как нас называли некоторые недоброжелатели из активистов (более терпимые называли нас "демонстрантами"). Это была группа людей, которые выходили с плакатами в руках на демонстрации за право выезда. И в этой группе были такие разные люди, как Захар Теслер, простой рабочий, и мой товарищ по Физтеху Лева Коган, и Марк Нашпиц, зубной врач, и рабочий Боря Цитленок, и инженер Крижак, и кандидат наук Либерман — общество было самое демократичное. И все мы чувствовали себя как-то резко, сразу освободившимися. Конечно, если у меня, скажем, были еще какие-то другие интересы, я мог их удовлетворить на семинарах — у Лернера, у Рубина. Круг людей, с которыми я там общался, был очень широким и интересным, там были очень яркие люди. Я уже упоминал Мику Членова. Он произвел на меня неизгладимое впечатление — и своей любовью к нашему языку, к нашей истории, и способностью все это донести, а главное — полным отсутствием догматизма. Он мог, например, — мне это особенно нравилось — иронически пройти и над нашим "сектанством", и над отдельными "мифами" нашей истории, при этом нисколько не теряя к ней глубокого уважения. У него это шло не от недостатка еврейского чувства, а от широты взглядов. Он был первым моим учителем, и я думаю, что он мне очень много дал в культурном плане.

С другой стороны, был такой человек, как Валера Крижак, — он сейчас живет в Иерусалиме, — он был лидером группы "хунвейбинов", хотя ему было уже под сорок, он тогда казался мне глубоким "стариком". Инженер, с большой женой, с ребенком

на руках — тем не менее он преспокойно брал в руки плакат и отправлялся на демонстрацию, хотя это было совсем не безопасно. Просто он был убежденный сторонник “жесткой линии” — как сейчас говорят обо мне. Конечно, костяк нашей группы составляла молодежь, которую можно, если хотите, назвать “драчливой”. Но тут перед нами был спокойный, основательный, семейный человек, и он шел на опасную борьбу так же естественно, как вел себя в обычной жизни. Это производило сильнейшее впечатление, и не на меня одного...

Я встречался и с учеными людьми в движении — с Лернером, Воронелем, Виталием Рубиным, Азбелем, — но на них я тогда смотрел снизу вверх. Со многими из них — например, с тем же Виталием Рубиным — я позже познакомился поближе, но в те времена я ощущал по отношению к ним настоящий пиетет, и это мне даже несколько мешало. Но среди них оказался один человек, от которого никакой пиетет меня не отгораживал, который сразу повел себя очень естественно и тоже, я считаю, сыграл огромную роль в моей дальнейшей судьбе. Это был Александр Лунц. Этому человеку его принадлежность к ученому миру не только не мешала понимать нас, “хунвейбинов”, но наоборот — заставляла считать наши действия важной составляющей движения в целом. Он поставил нам на службу целый ряд своих связей и тем самым очень расширил наши, в частности — мои возможности. В определенном смысле то, что я впоследствии перешел от демонстраций, поездок по городам, распространения литературы к регулярной и систематической передаче информации о движении через иностранных корреспондентов, произошло благодаря его помощи, благодаря тому, что он дал мне понять важность этого дела.

— У меня возникает ощущение противоречия. С одной стороны, вы с явным наслаждением вспоминаете “ироничного интеллектуала” Мику Члена, с другой, с меньшим удовольствием — свою деятельность “хунвейбина”. Как это сочетается?

— Меня самого это иногда ставило в тупик. Знаете, на первой стадии моей деятельности, в 73–74-м годах, у меня была кличка “Террорист”. Ее, правда, приклеил мне один из наших недругов, и надо понимать, что весь наш “терроризм” состоял в выходе с плакатами на демонстрации, но многие все равно считали, что это — “хулиганство” и движению приносит только вред. Я же считал, что это очень важная сторона нашего движения, что это не просто наше “самовыражение”, но и необходимость. Я был убежден, что необходимо напоминать, что в этой стране есть люди,

готовые выходить на демонстрации ради того, чтобы Запад понял, что положение действительно драматичное. В силу своего темперамента я любил эту демонстрантскую атмосферу раскованной стихии, эту атмосферу непосредственного, прямого противостояния. Но с другой стороны, в силу своего образования, своей ментальности я и эту страсть постоянно подвергал интеллектуальному, рационалистическому анализу — просто действие, без мысли, меня никогда не удовлетворяло. И в тот момент, когда я понял, что наши действия уже превращаются в “демонстрации ради демонстраций”, что за ними уже ничего важного для движения нет, что надо придать более значительный политический вес нашим акциям, а к тому же увидел, что люди, которые занимаются информированием мира о нашей судьбе, плохо понимают наше движение, — в этот момент я решил... Впрочем, это слишком высокопарно: “решил”, точнее сказать — меня подтолкнули — такие люди, как Лунц, в первую очередь, — заняться работой с корреспондентами. И вот в этот второй период деятельности, с 75-го до начала 77-го года, у меня была неофициальная кличка “Споуксмен”, представитель для печати. Так кто же я — террорист или спуксмен? Я сам до сих пор не знаю. Мне доставляют удовольствие обе роли, вы правы. Потом, когда я уже был в тюрьме, мне снова и довольно часто приходилось выступать в обеих этих ролях. С одной стороны, участвовать или даже быть инициатором каких-то жестких акций, голодовок, забастовок, когда нужно срочно поднять шум на всю тюрьму, чтобы привлечь внимание к соседу по камере, которому очень плохо, или протестовать против грубого нарушения законов. Такого рода ситуации там возникают регулярно. Но я бывал там и “спуксменом”, и не менее часто мне приходилось вести переговоры между администрацией и заключенными или внутри камеры. Ведь когда в одной камере годами держат рядом украинского националиста, русского националиста, армянского националиста, какого-нибудь диссидента, члена “группы за мир” и, скажем, сиониста, то не могут не возникать самые разные конфликты, и кому-то приходится играть роль “третьей стороны”. Так что мне и в дальнейшем доводилось играть обе эти роли, просто в силу своего положения, что ли. Положение ведь обязывает...

— Ну, вряд ли это можно объяснить только положением. Если бы не было доверия, вряд ли вас избрали бы на роль “спуксмена”.

— Да, был и такой фактор. Дело в том, что после суда я на-чисто отказался иметь дело с КГБ. Это не было демонстрацией. Мне просто противно было с ними беседовать. Я с ними уже “на-беседовался” за полтора года следствия и суда. Но я не пред-ставлял себе, какое влияние это со временем окажет на мое по-ложение, на мою репутацию в лагере. Ведь КГБ там непрерывно старается провоцировать, восстанавливать всех против всех. И если человек — даже во всех отношениях хороший, порядочный человек — о чем-то беседует с глазу на глаз с КГБ, и никто не знает, о чем, — ему уже нет доверия. Хотя он, может, ни в чем не виноват, просто КГБ специально для этого вызывает его на бе-седы. Был такой интересный момент: когда я второй раз при-был на зону, в 85-м году, — меня тогда всего на полтора месяца перевели из тюрьмы, — я появился там, как человек, которого уже никто толком не помнит, даже процесс уже почти забыли. Но вот, оказалось, знали, что это тот самый Щаранский, кото-рый не имел никаких отношений с КГБ на протяжении всех этих лет. Отсюда, наверно, и доверие...

— Вы упомянули, что сейчас вас считают представителем “жесткой ли-нии”, и вот, размышляя над “феноменом Щаранского”, я начинаю думать, что все-таки тут определенную роль играет темперамент. Вы говорите, что старательно обдумываете и “просчитываете” свое поведение, но, вероятно, когда вы уже приходите к решению, что действовать необходимо, то фор-мы действия вы выбираете “по темпераменту” — более активные, более “жесткие”.

— Это верно. Но все-таки главное, я считаю, состоит в том, что все свои действия, даже самые резкие, я стараюсь предварительно, даже задолго до самих действий, обосновать логически. Во время следствия я только этим и занимался, подвергая логическому анализу буквально каждый свой шаг, все, что уже произошло и что предстоит сказать и сделать. Конечно, это не означает, что потом не было никакой импровизации, что я все так и делал по заранее намеченному плану, но я вот что хочу сказать: никогда — ни в тюрьме, ни до этого — я не занимал жесткой позиции только потому, что этого требовал мой темперамент. Я это делал только тогда, когда был уверен, что такая позиция правильна.

— Вы и на следствии заняли жесткую позицию “по расчету”, а не по тем-пераменту?

— Там многое переплелось. На следствии перед тобой ставят очень простую задачу. Тебе дают понять: покайся, и мы тебя от-пустим в твой Израиль, а там — говори, что хочешь. Тебя попро-

сту подталкивают к этому. Убеждают, приводят примеры. А иначе, говорят, расстреляем...

– “Покайтесь” относится только к вам или к другим тоже?

– Ну, конечно, хорошо бы дать показания и на других. Но когда они видят, что на других давать показания ты не хочешь, тебе говорят: хорошо, давай только на себя. Когда и это не срабатывает, вступает в силу третий вариант: хорошо, ты полагаешь, что делал хорошее дело, представляешь благородное движение, а вот смотри – спутался с иностранцами, с корреспондентами. Отрекись хотя бы от них. Скажи: да, мы делали хорошее дело, но в той мере, в какой оно использовалось корреспондентами, дипломатами в иных целях, я это дело осуждаю. И на моих глазах многие люди начинали играть с КГБ в такие вот игры.

– Чем кончалось: они выигрывали, эти люди, или проигрывали?

– Они никогда не выигрывали. Вот, еще в ваши времена, было такое “дело Якира и Красина”. Моим следствием руководил тот же человек, который вел это дело, и он считал самым большим своим достижением победу над ними. Он мне говорил: “Ну, Красин продержался три месяца, но уж вы-то три месяца не продержитесь”. А я ему в тон: “Зачем мне две пресс-конференции, как Красину, я лучше не буду иметь ни одной...” На это он всегда отвечал: “Да нет, мы вам не будем устраивать пресс-конференцию здесь, в Союзе. Уедете в свой Израиль, там и устраивайте...” Ну, как Красин, – покаялся и уехал.

– Но в вашем случае речь ведь шла о расстреле... Что вы сейчас об этом думаете?

– Что я думаю сейчас – не так уж важно. Важно, что я думал тогда. Я думал, что та жизнь, которую я получу взамен, мне вряд ли будет нужна...

– Так экзистенциально стоял для вас вопрос?

– Да, именно экзистенциально.

– Но страшно же было?

– Еще бы! Особенно первые месяц-полтора. Они чувствовали, что слово “расстрел” на меня плохо действует, и поэтому все время повторяли: “Ну, нам придется вас расстрелять. Нам, конечно, вас жалко, но куда не денешься, мы вынуждены будем вас расстрелять. Мы ведь уже на весь мир объявили, что вы шпион, а за шпионаж у нас ведь полагается расстрел”. И всякий раз, как они произносили это слово, “расстрел”, у меня внутри словно какая-то струна обрывалась. Но потом я привык. Я решил при-

учить себя к этому слову. И стал его произносить сам. Начал им говорить с улыбочкой такой: "Все равно ведь расстреляете, чего же мне каяться..." Произнесешь это слово раз двадцать-тридцать — и оно вроде становится привычным, свыкаешься с ним. Дело в том, что к 70-й статье я мысленно готов был заранее, а вот к 64-й нужно было привыкнуть...

— И вы верили, что вас могут расстрелять?

— Вначале я действительно думал, что до этого может дойти. Потом, где-то в середине следствия, решил, что шансы фифти-фифти. А уже под конец считал, что если будет хоть какой-то шанс на открытый суд, если мир узнает, что меня в действительности обвиняют по еврейским делам, а не каким-то другим, то они вряд ли на такое решатся...

— Вы знали, что о вашем процессе известно в мире?

— В ходе следствия я ничего не знал. Более того — мне зачитывали показания Тодта, американского корреспондента, которого представили моим "связным". Это были маленькие кусочки, сами по себе довольно безобидные, но тот факт, что американский корреспондент дает показания (причем мне говорили, что он арестован), мне казался тревожным. Мне все думалось: что же там такое произошло на воле, что иностранный корреспондент, представитель Соединенных Штатов, который никаких законов не нарушал, соглашается давать показания?! Впрочем, потом он объяснял, что от него, якобы, этого потребовали в посольстве, чтобы не осложнять советско-американские отношения...

— Значит, был такой период, когда вы думали, что вас все забыли?

— Ну, не совсем. Я, конечно, не настолько хорошо знал свою жену, как сейчас, но все-таки я ее уже знал... И потом, уже перед судом, мне удалось увидеть телефильм, который сделали обо мне в Англии... Дело в том, что этот фильм был одним из существенных пунктов обвинения. Там английское телевидение использовало часть прежних кадров со мной, снятых еще в Москве до моего ареста, и новые, где засняли демонстрацию Наташи около советского посольства в Лондоне и Майкла Шербурна, который говорил, что много раз со мной беседовал по телефону и получал от меня много писем с информацией. Эти его слова мне поставили в вину, как доказательство моей сионистской активности. Но я об этом узнал уже после следствия, когда началось так называемое "ознакомление с материалами дела". Поскольку этот фильм использовали против меня, я потребовал, чтобы меня

с ним ознакомили. Они сначала возражали: нет, нельзя — но, в конце концов, поскольку это положено по закону, они мне его все-таки показали. И вот после четырнадцати месяцев полной изоляции я вдруг увидел на экране демонстрацию, толпы людей, Майкла Шербурна, Алексееву, а главное — Наташу... Я прикинулся, что дело серьезное — как-никак, ознакомление с материалами следствия, да еще без адвоката — а в фильме говорят по-английски, говорят на иврите — это все требует тщательной проверки, продумывания, я должен это еще раз посмотреть. И начал требовать: "Прокрутите еще раз... назад... а теперь вперед... а теперь назад..." Короче, они мне тогда целый день, с утра до вечера, показывали Наташу...

— Какая сила держала вас в этой "игре"? Ведь это изнурительная "игра" и притом с риском, что все кончится если не расстрелом, то уж лагерем наверняка. Если по-человечески: что вас держало?

— Ну, все-таки какие-то духовные и идейные критерии существуют же... Чувство ответственности, например, — я его ощущал с самого начала. Такое тяжелое чувство: нельзя поддаваться, нельзя, и все. Затем — любопытство, оно тоже играет немалую роль. И наконец — книги... В тюрьме была замечательная библиотека, еще с прежних времен, и я там читал взахлеб, это было, пожалуй, началом моего культурного самообразования. Когда читаешь такие книги, начинаешь чувствовать, что столько вокруг хорошего, честного — ну, и надо как-то самому тоже соответствовать...

— Понятно... То есть — более или менее понятно. Вприглядку и внаслуху такой опыт, я думаю, до конца понять невозможно. Но я хотел бы вернуться к более общим вопросам. Вы сказали, что с самого начала вошли в группу "хунвейбинов". Чем это было обусловлено? В движении было много разных групп, разных направлений, вы сами сказали, что не все одобряли вашу деятельность... Чем определялась ваша позиция в этой борьбе направлений?

— Я только что говорил, что все поверяю разумом, теперь мне придется опять войти в противоречие с самим собой и сказать, что сердцу тоже достаточно места в выборе пути. Когда я в те первые дни появился у синагоги, как раз прошла одна из демонстраций наших "хунвейбинов", — тогда я еще не входил в их группу, — и их посадили на пятнадцать суток. Меня сразу же очень смутило, что среди евреев, которых я встречал у синагоги, не чувствовалось никакой заинтересованности в их судьбе. Кое-кто даже говорил, что они делают вредное дело. Ко мне подошел

один очень уважаемый отказник (сейчас он уже в Израиле) и сказал: "Слушай, чего ты все время возишься с этими "хунвейбинами", есть гораздо более солидные, серьезные люди, давай, я тебя с ними познакомлю..." Он действительно познакомил меня с профессором Лернером, и я ему очень благодарен, потому что начал тогда ходить к Лернеру на семинар. Но слова его, но реакция окружающих на "хунвейбинов" меня просто возмутили. Людей посадили на целых пятнадцать суток! Мне тогда это казалось жутким сроком: пятнадцать суток в тюрьме, в ужасных условиях, да еще говорят, что их там избивают! Я просто клочкотал от гнева, когда при мне пускались в рассуждения, что это, мол, "хулиганы", которые только вредят "большой политике"... Чего стоит эта "большая политика", если не будет людей, которые кричат на весь мир: помогите советским евреям отсюда выбраться!

Но трезвый анализ приводил меня к тому же выводу: все стороны движения должны быть интегрированы в единое целое, оно должно быть "полифоничным". Я видел главный крен как раз в том, что к людям, которые в данный момент страдают за всех и больше всех, пытаются вызвать некую неприязнь, что их пытаются исключить из движения. В этих рассуждениях меня очень поддержал тогда Лунц — он тоже считал, что движение должно быть всесторонним...

Необходимость выбора пути возникала на каждом повороте. В 76-м году разгорелся новый спор, вокруг еврейской культуры — нужно ли делать всю ставку на развитие еврейской культуры внутри СССР? С одной стороны, я принадлежал к лагерю "политиков", куда входили Лернер, Лунц, Рубин, Нудель, Бейлина, Слепак, считавшие, что политические действия важнее всего остального. С другой стороны, как человек, в руках которого концентрировались связи с прессой, я считал себя обязанным помогать всем. Поэтому, когда сторонники "культурного направления" создали свой семинар, я помогал им организовать пресс-конференцию, а потом, когда их арестовали, мне пришлось срочно искать другое место, помогать проведению эрзац-семинара на квартире Розенштейна и собирать туда корреспондентов.

— Это вы делали по долгу "споуксмена". А как вы внутренне относились к этой борьбе вокруг "культуры"?

— У меня не было расхождения между внутренней позицией и внешней. Я глубоко симпатизировал задаче воспитания евреев

в лоне их национальной культуры. Более того — я все годы что-то для этого делал. Я регулярно использовал свои контакты с корреспондентами, с иностранцами, чтобы получать литературу, учебники и распространять их — в провинции, в основном. Это был тот вклад, который я мог сделать. В то же время я считал, что если мы подменим борьбу за эмиграцию борьбой за культуру, это может иметь опасные последствия, потому что это как раз тот путь, на котором советские власти могут обмануть Запад, как они уже не раз делали. Ведь у них уже существует аналогичная витрина — русская христианская церковь; они могут попробовать что-то подобное и с евреями: открыть пару-другую синагог, послать в Венгрию учиться не двух раввинов, а, скажем, десять, создать какой-нибудь показной "еврейский" театр...

— Да, сейчас у советских властей тоже есть интересная возможность — допустить определенные формы существования еврейских религиозных кружков, чтобы снять давление, чтобы перевести национальные проблемы в чисто религиозную плоскость. Дать молодым евреям видимость "своей" религиозной жизни, и этим снять накал борьбы...

— Да, такая опасность существует. Поэтому я и считаю, что подмена опасна. Я очень симпатизирую появлению "баалей-тшува" в России, но, как и тогда, если мы сейчас будем говорить только о необходимости бороться за их право изучать еврейскую традицию, если мы бросим наши политические силы на это, а не на алию, не на эмиграцию советских евреев из России, то на этом пути, я считаю, мы рискуем попасть в серьезную ловушку. Это тот путь, на котором Советам, возможно, будет легче обмануть Запад. Возьмите эмиграцию — такая, казалось бы, простая, ясная вещь: известно, сколько евреев уезжает, сколько задержано — тем не менее Запад и здесь постоянно пытается, даже готов, принять желаемое за действительное, оптимистически истолковать тот или иной жест советских властей, как-то не замечая при этом, что эмиграция непрерывно снижается, а никак не растет. Советам тем более легко будет играть, если мы сосредоточимся на борьбе за еврейскую культуру или традицию. Здесь нужно еще раз подчеркнуть: есть большая разница между тем, чтобы заниматься еврейской культурой там, и тем, чтобы вести за нее борьбу отсюда. Заниматься культурой, традицией безусловно нужно; и мы, "политики", всегда это поддерживали. Но бороться за это отсюда политическими средствами мне кажется неправильным. Этим я нисколько не хочу умалить подвига таких людей, как Бегун и

другие активисты еврейской культуры, как преподаватели иврита, которые пошли за это в тюрьмы и лагеря...

— Скажите, какие у вас еще расхождения с "истеблишментом"? В этом вопросе я у вас явно увидел расхождение с определенной частью западного — да и израильского — истеблишмента, которая как раз заинтересована именно в борьбе за культуру, за еврейскую религию в СССР. Но мне кажется, в каком-то вашем публичном выступлении прозвучало и другое расхождение — в вопросе о модном сейчас утверждении о влиянии "неширы" на "закрытие ворот".

— Я не боюсь отвечать за свои выступления. И я не боюсь расхождений. Я рад, что живу в государстве, где имею право на расхождения. Да, я говорю об этом и, может быть, чаще, чем этот вопрос того заслуживает, но лишь потому, что обнаружил в отношении к нему какое-то удивительное — и, на мой взгляд, необоснованное — единодушие...

— Это недавнее явление. Раньше вокруг неширы шли ожесточенные споры...

— Давно?

— Я думаю, лет пять-семь назад. Тогда еще писали статьи в защиту права выбора, демократии и так далее. Сейчас, вы правы, не пишут.

— И в вашей редколлегии — тоже единодушие?

— Нет, мы этим похвастать не можем...

— Ну, я вашу редколлегию не знаю, но мне довелось встречаться со многими представителями самых разных партий Израиля, и мы сходились по многим другим вопросам, но как только доходили до этого, у всех, от левых до правых, мнение было одно: нешира убила алию. Это, во-первых. А во-вторых, — хоть это явно не высказывалось, но всегда ощущалось на заднем плане: если они такие "умники", эти советские евреи, то пусть там посидят, закроем наши ворота тоже, пусть они там созреют...

— Созреют — для чего?

— Чтобы ехать не в Америку, а в Израиль. Конечно, так прямо не говорят, но это прослушивается, это можно прочесть на лицах. Поэтому я считаю себя обязанным сказать, что тезис, будто Советский Союз не выпускает евреев, потому что они едут "не туда", кажется мне неверным даже чисто теоретически. Я считаю, что главным в соображениях советских властей всегда является сохранение их системы. А это такая система, мы уже об этом говорили, где индивидуальность, личность — нечто противозаконное, где человек должен быть послушной частью системы, где она за него решает все, и даже уважение к самому себе он черпает из своего

места в системе, через нее, если он лояльный русский человек... И когда в этой системе появляются люди, которые берут на себя право решать, что им думать, что говорить и даже более — жить им в этой системе или нет, — это для нее смертельно опасно. Поэтому еврейский вопрос для советской власти — вопрос очень болезненный. Когда мы твердим, что мы не против советской системы, мы вряд ли кого-нибудь этим обманываем. Ибо каждый человек, который говорит: я хочу отсюда уехать, я не хочу здесь жить, я имею законное право эмигрировать — это страшный враг системы, он подрывает самый принцип ее существования.

Тем не менее, даже решая такой жизненно важный для себя вопрос, Советы иногда вынуждены отступить и уступить. И это происходит всякий раз, когда они видят, что не выпуская евреев, они теряют еще больше, чем выпуская. Вместе с тем это для них настолько тяжелая проблема, что по сравнению с ней влияние такого фактора, как выбор этих людей — едут они в Израиль или на Запад (а еще далеко неизвестно, что для России лучше) — это влияние пренебрежимо мало.

Вообще-то можно было бы сказать, что все наши споры о нешире имеют чисто академическое значение: ну, один считает так, а другой иначе. Но какой из этого делается практический вывод? Вывод такой, что как бы со всех других снимается ответственность: советские евреи сами виноваты — собственными руками похоронили свою алию... Вот почему я против такой формулы: нешира убила алию. Такая логика меня не убеждает. Я совершенно уверен, что советские власти принимают свои решения вне всякой зависимости от того, куда едут советские евреи. Но тут есть другая связь. Из-за того, что евреи едут "не туда", Израиль теряет к ним интерес. Я уже вам говорил о своем впечатлении от разговоров с израильскими политиками. Я-то считаю, что мы все равно обязаны бороться за спасение советских евреев в любом случае. Но тут перед нами факт, с которым нельзя не считаться. Причем не только на уровне партий и правительства. Я был на днях в армии, я беседовал с солдатами, с офицерами, и я видел то же отношение на уровне рядовых израильтян. Хотим мы этого или не хотим, израильтяне теряют интерес к советским евреям, к проблеме эмиграции. Если это эмиграция, говорят они, то пусть ею занимаются американцы, это дело всяких западных организаций, а не Израиля. А поскольку Израиль имеет уникальную возможность влиять на всю борьбу за советских евреев, то

как только он теряет интерес к ней и ослабляет свое давление, американские евреи уже не могут добиться того, чего могли бы добиться с его помощью. Вот в таком опосредовании нешира, согласен, оказывает влияние на алию. И здесь виноваты как те евреи, которые не едут в Израиль, так и те в Израиле, которые не признают важности борьбы за советских евреев в любом случае. Впрочем, слово "виноваты" тут не подходит... Не "виноваты", а скажем — "прилагают руку". И те, и другие прилагают руку к тому, чтобы "похоронить" алию. Но это несколько иная логика, чем та, которую нам предлагают: мол, поскольку советские евреи не едут в Израиль, то Советский Союз закрывает ворота вообще...

— У вас есть и еще одно расхождение с истеблишментом — по вопросу о совместных действиях с диссидентами... И как только вы со всеми этими "поперечностями" решились приехать в Израиль?!

— Не только "решился", но и весьма комфортабельно себя тут чувствую. Что же касается вашего вопроса, то я бы ответил на него следующим образом: я так думаю, потому что я так чувствую. Что тут первично, я сказать не могу. Опять та же проблема выбора, о которой вы меня все время допытываете... Попробую все-таки объяснить этот выбор. Когда я говорил о нешире, я не добавил, потому что считал само собой разумеющимся, что я-то, конечно, хочу, чтобы как можно больше советских евреев приехали в Израиль. Точно так же в данном вопросе я считаю само собой разумеющимся, что совсем не чувствую себя вправе бороться со стремлением советских властей перестроить жизнь русского народа по тем или иным принципам. Я считаю, что с того момента, как я решил отсюда уехать, мои моральные права в борьбе за внутреннее переустройство России стали значительно меньше, если вообще не равны нулю. Тем более, что я действительно чувствую (хотя у меня, повторяю, много русских друзей, и Сахарова я считаю величайшим из людей, которых я встречал в жизни), что русский народ — это народ с совершенно другим сознанием, другим мироощущением, другими потребностями. Я никак не могу брать на себя ответственность решать за этот народ, какого типа строй ему нужен — монархическая система или демократия западного образца...

— Разрешите в скобках: у вас есть какие-то причины для русофобии?

— Нет, абсолютно. Когда я говорю, что это "другой" народ, — это не значит "хуже" или "лучше". То же самое относится и к

евреям. В определенном смысле евреи действительно избранный народ, но это не делает их лучше или хуже. Это делает их другими — со своей культурой, своей ментальностью, своим образом жизни. Так вот, русские для меня — просто другие. Я уже говорил, что среди близких мне людей чуть не половина русских. Но как народ они другие, и у них есть свой исторический путь. И я не думаю, что я вправе им указывать. У меня, конечно, есть естественное желание, чтобы каждый народ, живущий сегодня под гнетом советской системы, имел возможность самостоятельно решать свою судьбу. Но как это должно произойти, на каких основах должна перестраиваться Россия — я взять на себя ответственность не берусь. Поэтому даже когда я сотрудничал с такими людьми, как Сахаров, и стал одним из основателей Хельсинкской группы, я никогда не подписывал таких документов, в которых речь шла о том, как должна быть перестроена Россия. Но совсем другое дело — моя личная симпатия к людям, чьи конкретные права нарушены, к тем, кто страдает от советской власти из-за того, что борется за права своего народа. Более того — мы, евреи, часто обращались за помощью к этим людям, в частности — к Сахарову. В свое время, когда обсуждался вопрос о поправке Джексона, многие еврейские организации не были готовы ее поддержать. Сахаров возвысил тогда свой голос, и это сыграло немалую роль в том, чтобы убедить многих людей в важности этой поправки. Я уж не говорю о конкретных случаях, когда мы обращались по поводу того или иного арестованного еврея или узника Сиона или когда я в своих контактах с корреспондентами чувствовал, как важно, что те или иные наши требования будут поддержаны Сахаровым. Я шел тогда к нему и получал его заявление, и это сразу придавало нашим требованиям больший вес, привлекало к ним большее внимание и на более высоком уровне. Было бы просто аморально, я считаю, и вразрез с теми принципами, по которым я стал жить, придя к сионизму, если бы после всего этого я не выступал в защиту того же Андрея Дмитриевича Сахарова.

— Я вас слушаю и думаю, что у вас внутри, видимо, есть надежный нравственный компас — вы все время стараетесь понять, на каком пути вы будете в ладу с самим собой, со своей совестью...

— Я не думаю, что я тут что-то изобрел...

— Теоретически — конечно, но практически это далеко не всем и далеко не всегда удается. Даже понять — не говоря уже о том, чтобы, поняв, дей-

ствовать в соответствии с этим пониманием и идти до конца. Теперь ясно, почему вас не очень беспокоят ваши расхождения с истеблишментом. Прекрасно. Но ведь еще одна сторона. Вы оказались — судя по некоторым статьям в русскоязычной прессе — в известном конфликте и с теми, кого как бы “представляют” — с определенными кругами выходцев из СССР в Израиле. Или, быть может, вы не считаете себя их представителем?

— И да, и нет. Да — в том смысле, что весь мой опыт, вся моя судьба — это часть судьбы советского еврейства. В то же время — хотя бы по опыту своей деятельности “споуксмена” — я хорошо знаю, сколько существует разных групп, различных мнений и как опасно назвать себя “представителем”. Поэтому я никогда, ни разу не заявлял, что я чей-то представитель — именно для того, чтобы не возбуждать каких-то плохих чувств у людей, которые думают как-то не так. Я всегда высказываю только свое личное мнение. Но я уверен, что мой опыт — это часть большого опыта советских евреев, и в этом — только в этом смысле — я их представитель... У меня, уже здесь, был смешной и печальный случай: меня пригласили в Гиват-Тахмошет на празднование дня освобождения Иерусалима. Я с удовольствием согласился, потому что эта дата для нас, советских евреев, очень важна. Через несколько дней они позвонили и сказали: “Мы готовим венки и хотим, чтобы один из этих венков возложили вы; что написать на нем: от советских евреев или от вас лично?” Сначала я решил: конечно же, от советских евреев, что за “яканье”. И уже открыл было рот, чтобы так ответить, но тут же сообразил: ведь обязательно начнут писать в том же “Круге” или не знаю, где еще, — а кто, собственно, дал ему право представлять советских евреев?! Пришлось сказать: “Знаете, напишите: от Анатолия Щаранского...” Потом я чувствовал себя страшно неловко, потому что венки были от всевозможных организаций — и только один от какого-то Анатолия Щаранского. Но что самое интересное — не помогло! Через несколько дней в журнале “Круг”, по совершенно другому поводу, появилась какая-то абсолютно дурацкая статья: почему Щаранскому “дали квартиру” (кстати, мне ее никто не давал), почему за Щаранским прислали самолет и вообще — почему он говорит от имени советских евреев?! И я подумал: как хорошо, что я никогда не говорил ни от чьего имени!

— Да, это показательно. В день вашего прибытия в Израиль такие чувства с предельной примитивностью выразил какой-то опрошенный теле-репортерами человек, который сказал: “Щаранский в Израиле всего пятнадцать минут, а я уже пятнадцать лет, но меня еще никто не показал по

телевидению...” Ну, что ж, возможно, это даже к лучшему — будет в Израиле такой “индивидуум” Анатолий Щаранский, который излагает свои личные взгляды и идеи и идет своим собственным путем. Тем не менее на вас были, есть и будут “покушения”. И не только со стороны партий. Один из моих друзей, узнав, что я собираюсь брать у вас интервью, сказал так: “Когда я читаю в газетах о мытарствах наших отказников в СССР, мне хочется взять на работе отпуск и встать у Кнессета с плакатом — “Сделайте что-нибудь!” Но что именно? Может, Щаранский знает?”

— Понимаете, моя беда... то есть не беда, а трудность моего положения в том, что все ждут от меня каких-то откровений. Как будто пришел мессия. В Израиле ждут, что я сейчас скажу, что нужно делать. Советские евреи ждут, что я их сейчас освобожу. Я приезжаю в Америку — ждут, что я что-то им открою. Я появляюсь в Конгрессе — сенаторы и конгрессмены ждут, что я сейчас подскажу им, как вести себя на переговорах с русскими в вопросе о евреях. Меня приглашают в Белый дом и слушают, как будто я Киссинджер или Бжезинский. Это совершенно противоестественно! Я не Киссинджер, не Бжезинский, я не мессия, я даже не “представитель советских евреев”. Я Анатолий Щаранский, и я все время излагаю только свою точку зрения. Я действительно всюду говорю, что нужно сделать, но говорю только то, что думаю, к чему пришел на основании опыта борьбы и особенно опыта лагеря, который, я уверен, дает наилучшее представление о советской системе и о том, как она работает. Вот это я и пытаюсь донести — в частности, до нашего правительства здесь и, понятно, в Америке. И этот мой опыт мне подсказывает, что нужна, действительно, очень жесткая линия. Ибо если не будет постоянного давления на СССР по экономическим, культурным, политическим направлениям, если мы не будем постоянно напоминать западным правительствам, в особенности американскому правительству о трагедии советских евреев, то мы даже не заметим, как этот вопрос может сойти с повестки дня, как Советский Союз какими-нибудь двумя-тремя эффективными жестами, освобождением нескольких семей добьется всего, чего он хочет добиться от Запада, и вопрос о массовой эмиграции советских евреев будет попросту закрыт...

— Здесь, в Иерусалиме, на одной из конференций, выступал Ричард Пайпс — историк, а в прошлом — советник Белого дома по русским делам. И он сказал, что массовый выезд прошлых лет был уникальным “выбросом”. Он объяснил это так: сейчас Америке нечем всерьез платить. Соединенные Штаты не пойдут на отказ от “звездных войн” ради советских евреев — хотя бы потому, что тут решается вопрос о защите всего свободно-

го мира. А чем еще платить? Пшеницей? Россия обходится, покупает у других. Поправкой Джексона? Россия и это пережила... У вас нет такого же ощущения?

— Нет, у меня такого ощущения нет. Я уже говорил, что для Советского Союза согласие на массовую еврейскую эмиграцию — это очень тяжелый шаг и потому, я согласен, он идет на него только в исключительных обстоятельствах. Можно даже порассуждать, почему он в свое время на него пошел. Я думаю, одна из причин состояла в недооценке масштабов. Я помню, как в 69-м—71-м годах — я тогда был еще очень далек от еврейского движения, хотя уже под сильным впечатлением ленинградских процессов, — мы обсуждали такую теоретическую возможность: что произойдет, если Советский Союз "откроет двери"? сколько человек уедет? наберется, скажем, 50—60 тысяч или нет? И вы, конечно, помните, как быстро все эти оценки изменились. Уже через несколько лет уезжали по 30—50 тысяч в год! Я думаю, что советские власти пошли тогда на этот шаг, потому что надеялись снизить давление и в то же время обойти поправку Джексона и добиться детанта. Кое-чего они действительно добились. Детант, я думаю, позволил России сделать значительный рывок, потому что Соединенные Штаты перестали заниматься своим вооружением и глобальной политикой вообще. Но в дальнейшем советские власти поняли, насколько массовый выезд опасен для их режима. И конечно, так просто они на новую эмиграцию — хотя бы тех 400 тысяч, которые уже запросили вызовы, — не согласятся.

С другой стороны, в отличие от Пайпса, я не знаю, насколько серьезен план "звездных войн" в чисто военном отношении. Но я точно знаю — я это чувствовал, даже сидя в камере, читая газеты и слушая радио, — что русские очень этого боятся, и Горбачев — значительно больше, чем его предшественники. Они обеспокоены своим ускоряющимся отставанием в технологии, в науке, в экономике. Горбачев в одной из своих речей впервые открыто сказал: если мы в ближайшее время что-нибудь не сделаем, мы проиграем соревнование с капитализмом. Людям, вышедшим из России, не нужно объяснять, какая это революция в мышлении советского человека — сама мысль, что можно вообще проиграть соревнование с капитализмом!

И если русские будут иметь дело с решительным американским президентом, которого нельзя обмануть, как они обманы-

вали Никсона и Картера, то возможности, я думаю, есть. Советский Союз мучительно хочет получить доступ к западной технологии, открыть торговлю. И он торопится это сделать — время его подгоняет: Поэтому я полагаю, что именно ближайшие годы должны принести какие-то решающие изменения. Если же за это время нам не удастся снова открыть ворота, то в дальнейшем действительно будет крайне трудно что-нибудь сделать...

— А желание открыть эти ворота есть?

— У американцев? Я думаю, что это во многом зависит от позиции Израиля.

— Но вы уже "понюхали" израильский истеблишмент. Каково ваше ощущение — он действительно хочет массовой алии? Мы слышим из уст наших лидеров, что у них нет никаких "претензий" к СССР. Мы понимаем, что это политическая игра. Может, все разговоры об алии — тоже игра?

— Я не думаю. Естественно, мои взгляды могут отличаться от взглядов тех или иных членов правительства. Но у меня нет никаких сомнений в том, что все — и Перес, и Шамир, и многие другие израильские политики, с которыми я разговаривал, — искренне хотят массовой алии из СССР. Но не эмиграции, а именно алии. Это мне уже ясно: никто из них не заинтересован бороться за евреев "просто так", за их право выезда "куда угодно". Однако представления о том, как работает советская система и как с ней можно договориться, у меня и у них — разные. Я, например, считаю, что те переговоры, которые вел в Москве Бронфман (после чего израильское правительство всякий раз давало сигналы, что сейчас все наладится и нужно прекратить демонстрации), — это огромная ошибка. И дело даже не в том, что была отменена та или иная демонстрация. Но в тот момент, когда надо быть очень бдительным и изо всех сил напоминать Западу о масштабах проблемы и ее серьезности, главная роль Израиля может состоять лишь в одном — непрерывно возбуждать, а не гасить настроения евреев во всем мире. Иными словами, не свертывать, а напротив — разворачивать борьбу и притом борьбу открытую. Я убежден, что от уровня этой борьбы, от степени ее гласности сильно зависит также и уровень сионистского движения в России...

— Вы правы: у нас нет материальных возможностей влиять на Советский Союз. Но у нас есть еще одна сила — четкая и последовательная моральная позиция. Не политическая игра, в которой СССР нас наверняка переиграет, а принципиальная политика, основанная на несомненном нравственном праве...

— Да, сильная моральная позиция, справедливость нашего дела,

воздействие на евреев во всем мире, давление на западные правительства — вот рычаги, которые могут дать нам возможность побудить Запад бороться за советских евреев методами открытой и тайной дипломатии. В противном случае этот вопрос очень легко может сойти с повестки дня. Мы уже видели это на недавнем совещании в Берне, где даже Соединенные Штаты едва не проголосовали за советскую резолюцию, предлагавшую снять обсуждение проблемы прав человека и ей подобных... Во время моей недавней поездки в Америку все меня заверяли, что поддерживают поправку Джексона, поддерживают жесткую линию в отношении СССР. Но стоило мне уехать, как через пару недель в американской печати появились статьи, в которых лидеры некоторых еврейских организаций уже рассуждали о "полезности" отказа от поправки Джексона. И понадобилось много переговоров по телефону, чтобы организовать новое совместное — и довольно жесткое — заявление руководителей американского еврейства, что они поддерживают поправку. Я считаю, что это не случайно. Это отражает глубинную уверенность многих американцев (при том — хороших, порядочных людей, искренне готовых бороться за советских евреев), что Советский Союз не надо "раздражать", что лучше договориться с ним "тихо", "по-хорошему", что нужно сначала наладить отношения, возродить детант, а уж потом, в обстановке нового детанта, можно будет предложить ему цену побольше, и он продаст нам побольше евреев... Я думаю, что эти люди совершенно не понимают советскую систему, не понимают, на чем она основана и что значит для нее разрешить свободу эмиграции, какой это для нее смертельный риск и насколько она на него никогда не согласится, если не будет чувствовать сильнеешего давления. Чего можно добиться с помощью "умиротворяющей" политики? Можно добиться, как я уже сказал, нескольких красивых жестов, с помощью которых Советы попытаются разрядить ситуацию. Конечно, это тоже морально важно, но это не решает проблему в целом. Решение проблемы в целом, я убежден, требует жесткой и последовательной политики. И добиваться проведения ее Соединенными Штатами и другими западными государствами, должен, в первую очередь, Израиль. А в Израиле — мы, выходцы из СССР.

— Благодарю вас.

Вел интервью Р. Нудельман

Альбер Камю, современник Симоны Вайль, называл ее "единственным духоборцем нашего времени". Т. С. Эллиот писал о ней: "Мы просто должны отдаться воздействию личности этой женщины, гениальность которой сродни гениальности святых". Чеслав Милош в Нобелевской лекции, говоря о своей вере в приход нового сознания человечества, заканчивает: "Тогда явится новая иерархия заслуг, тогда, я уверен, и Симоне Вайль, и Оскару Милошу, писателям, в школе которых я был смиренным учеником, воздастся по достоинству".

Француженка по рождению, еврейка по национальности, католик по убеждению, Симона Вайль родилась в 1909 году в Париже в семье известного и состоятельного врача Бернарда Вайля и уморила себя голодом в августе 1943 года в Ашфорде, Англия, — но не совсем так, как Гоголь, потому что она не только писала: "Ничто не может быть труднее молитвы", но еще: "Поделиться куском хлеба важнее, чем произнести проповедь". В последние дни перед смертью она отказывалась принимать пищу не только потому, что в мистическом порыве искала торжества сверхъестественного над естественным ("Рожденные в этот мир, мы не обладаем ничем, кроме силы произнести "я". Вот что мы должны уступить Богу, вот что мы должны уничтожить"), но и потому, что этим выражала солидарность с голодающими под немецкой оккупацией французскими рабочими, — максималистский рационализм, смахивающий на максимализм русских нигилистов-социалистов, не правда ли?

Симона Вайль оставила после себя

Симона Вайль

**"ИЛИАДА",
ПОЭМА О СИЛЕ**
(публикуется
с сокращениями)

ряд статей, писем, записных книжек, в которых охвачен широкий ряд тем, от политики до теологии. Статья "Илиада", поэма о Силе" получила наибольшую известность, и когда ее упоминают, то добавляют непременно эпитет "классическая". Впрочем, что в ней "классического"? Что может быть профессорски-объективного в женщине, про которую было сказано, что "в ней живет вся абсурдность, абсолютизм и добела раскаленность еврейских пророков"? Симона Вайль была не классицист, а гуманист — и гуманист разяще-пронзительный. То есть, вот так, как в "Илиаде" воины не устают пронзать противников копьями, Симона Вайль направляет копье бескомпромиссной, максималистской духовности в самые болезненные человеческие точки. Ее анализ прелращения Силой бьет не только по героям Гомера, не только по военачальникам всех времен и народов и даже не только по всем сильным мира сего, но по каждому из нас, если мы решим признаться себе в этом. В частности, если брать слово "мы" в национальном разрезе, он бьет по тому, несомненно особому, взаимоотношению с Силой, которое сложилось у евреев с библейских времен, — и отсюда агрессивный антииудаизм Симоны Вайль. Можно "обижаться" на нее, можно находить в трактовке ею Ветхого Завета вопиющую односторонность и намеренные искажения, но можно, отбросив формальные зацепки, попытаться понять, что именно она говорит. Писания Симоны Вайль — это писания того сорта, которые, по словам Кафки, "должны послужить топором для замерзшего моря внутри нас".

* * *

Истинный герой, предмет, одним словом — суть "Илиады" есть Сила. Та самая Сила, которой, казалось бы, как тростинкой, размахивает человек — ишь, богатырь, ишь, герой, — а в следующий момент тростинкой же стелется перед ней, и вот плоть его смята. Никогда, никогда не избежит душа человека изменения в столкновении с Силой, смятенная и ослепленная тем, с чем она надеялась справиться, поклоняющаяся тому, от чего проистекают ее страдания.

Сила есть некий феномен, который превращает в предмет, в "вещь" каждого, кто оказывается в поле ее действия. Того же, кто попадает под прямой удар, она превращает в вещь буквально: был человек, остался труп. И "Илиада" не устает рисовать эту картину: герой превратился в вещь, которую волочит в пыли колесница.

Прах от влекомого вьется столпом; по земле, растрепавшись,
Черные кудри крутятся; глава Приаида по праху
Бьется, прекрасная прежде; а ныне врагам Олимпиец
Дал опозорить ее на родимой земле илионской!

Нам дано вкусить горечь этой сцены в полной мере. Никаких

утешительных выдумок, никаких намеков на бессмертие, никаких ссылок на патриотическую славу.

Тихо душа, из уст отлетевши, нисходит к Аиду,
Плачься на долю свою, оставляя и младость и крепость.

Острота боли усиливается воспоминанием об ином мире, о том далеком и непрочном мире, где царят семья и покой, где человек представляет собой самое дорогое для окружающих его:

Прежде ж дала повеленье прислужницам пышноволосям
Огнь развести под великим треногом, да будет готова
Гектору теплая ванна, как с боя он в дом возвратится.
Бедная! дум не имела, что Гектор далеко от дома
(букв.: от теплых ванн)

Пал под рукой Ахиллеса, смирен светлоокой Афиной.

Действительно, он был куда как далеко от теплых ванн, наш страдалец. И не он один. Действие в "Илиаде" почти все время разворачивается вдалеке от теплых ванн. Почти вся человеческая жизнь проходит вдали от теплых ванн.

Сила, что разит сразу и наповал, есть, впрочем, примитивная, грубая разновидность силы. Насколько же более разнообразна в своих выдумках и эффектах та, иная, которая не убивает, но откладывает убиение. О, она несомненно должна убить. Или, вероятно, может убить. Или повисает над головой того, кого в любой момент способна убить. Вот эта, последняя: самая изощренная из всех, она превращает человека в камень. От обыкновенной Силы, которая просто убивала, отпочковывается и развивается иная, куда более удивительная, способная опредметить человека, пока он живет. Да, человек живет, он обладает душой, а все-таки он вещь. Ну, и странное же он существо: вещь, обладающая душой, — и странно поистине состояние его души. Кто знает, как часто, если не каждое мгновение, душе приходится карежить и уничтожать самое себя, дабы согласоваться, ужиться в вещи? Души ведь не созданы обитать в предметах неодушевленных, а коль скоро принуждены, то нет клеточки в них, которая не страдала бы от насилия подобным противоречием.

Человек, обнаженный и безоружный, против которого в воздухе повисает угрожающе копье, превращается в вещь прежде, чем оружие коснулось его. Только мгновение он рассуждает, борется, надеется:

Так размышлял и стоял он; а тот подходил полумертвый,

Ноги Пелиду готовый обнять: несказанно желал он
Смерти ужасной избежать и близкого черного рока...
Юноша левой рукою обнял, умоляя, колена,
Правой копье захватил и, его из руки не пуская,
Так Ахиллеса молил...

Но вскоре человек понимает, что ему не избежать копья противника, и хотя он все еще дышит, он уже только материя; все еще думая, он не способен думать ни о чем.

Так говорил убеждающий сын знаменитый Приамов,
Так Ахиллеса молил; но услышал не жалостный голос...
...Так произнес, — и у юноши дрогнули ноги и сердце.
Страшный он дрот уронил и, трепещущий, руки раскинув,
Сел; Ахиллес же, стремительно меч обоюдный исторгши,
В выю вонзил у ключа, и до самой ему рукояти
Меч погрузился во внутренность: ниц он по черному праху
Лег, распростершись; кровь захлестала и залила землю.

Безоружный, слабый и беспомощный старик, обращаясь со смиренной просьбой к могучему воину, вовсе не подписывает себе тем самым смертный приговор. А все-таки одного нетерпеливого движения со стороны воина достаточно, чтобы роковое случилось. И вот так-то плоть теряет изначальное качество, присущее живой материи. Видите ли, живая плоть свидетельствует о жизни прежде всего способностью рефлексировать — как лапка лягушки под током. Любой громила, сколько бы на нем ни было мускулов и жира, а все равно перед лицом чего-то пугающего, ужасного поневоле содрогнется. Но раздавленный и униженный старик-проситель не способен ни содрогнуться, ни съежиться от страха, ему не отпущено даже такой вольности. Вот-вот его губы коснутся предмета, который внушает ему наибольший ужас:

Старец, никем не примеченный, входит в покой и, Пелиду
В ноги упав, обымает колена и руки целует, —
Страшные руки, детей у него погубившие многих!

Созерцание человека, уменьшенного до такой степени ничтожества духа, поражает почти так же, как созерцание трупа.

Так, если муж, преступлением тяжким покрытый в отчизне,
Мужа убивший, бежит и к другому народу приходит,
К сильному в дом, — с изумлением все на пришельца взирают,
Так содрогнулся Пелид, боговидного старца увидев;
Так содрогнулись все, и один на другого смотрели.

Но и это только на одно мгновение. Вскоре самое присутствие страдальца забыто.

За руку старца он взял, от себя отклонил его тихо.

И вовсе не от недостатка чувствительности отклонил Ахиллес старца. Слова Приама, вызвав образ отца, тронули его до слез, и он вдруг ощутил себя свободным в движениях, как если бы его колен касался не живой человек, но неодушевленный предмет. Обычно люди одним только присутствием рядом с нами вызывают некое напряжение, которое ограничивает, преобразовывает движения, жесты, задуманные нашим телом. Если кто-то пересекает перед нами тротуар, он заставляет нас остановиться или свернуть с пути, и вовсе не так, как это сделал бы светофор. Никто не садится, встает или движется по комнате в присутствии визитера так же, как он делал бы это, находясь один. Но есть люди, которые не способны более источать подобное (и неоспоримое) качество живого присутствия. Они знают, что малейшее нетерпеливое движение их оппонента, и им конец, хотя бы даже никто не присудил их к смерти. В присутствии таких людей другие ведут себя так, будто их здесь нет. А они, в свою очередь, обнаруживают, что впали в полную ничтожность, что не живут более, но имитируют существование. Оттолкни их, и они упадут. Упав, они продолжают лежать до тех пор, пока кому-нибудь не придет в голову поднять их. Но даже если их подняли со словами почтения и сердечности, они все равно не способны поверить, что воскрешены всерьез, и по-прежнему трепещут выразить желание; малейшая нотка раздражения в голосе их оппонента, и они снова впадают в молчание.

Так говорил; устранился Приам и, покорный, умолкнул.

Некоторые просители, если их ободрить, снова возвращаются к жизни. Другие же, горемыки, не умерев, остаются на всю жизнь вещью. Нет для них более вольного пространства, неизведанной дороги. Они не способны более ни одарять людей от щедрот своего сердца, ни принять щедроты, предлагаемые другими людьми. Внешне их жизнь ничем, быть может, не отличается в своих ежедневных заботах от жизни окружающих; и необязательно им находиться на более низкой ступени общества, не в этом дело. Просто они иная разновидность людей, а именно — компромисс между живым человеком и мертвецом.

С точки зрения логики здесь противоречие: человек не может быть вещью. Но когда невозможное становится реальностью, тогда противоречие расщепляет душу. Каждый момент вещь пытается снова стать полнокровным мужчиной или женщиной, а не выходит! Это — умирание на протяжении всей жизни, это жизнь, оцепененная смертью задолго до того, как придет срок смерти.

Тем, кому непосредственно выпала жестокая судьба, тем, кто подвергается столь грубым и сокрушительным ее ударам, больше не до проклятий, бунтов, сравнений, размышлений о прошлом и будущем, — самая память о прошлом почти стирается из их памяти. Рабу не положено хранить верность своему городу или своим усопшим.

Но так же безжалостно, как она крушит слабых, Сила сводит с ума тех, кто обладает (или думает, что обладает) ею. Род человеческий отнюдь не разделен в "Илиаде" на потерпевших и униженных, рабов и просителей, с одной стороны, и победителей и повелителей, с другой. Никто не избегнет участи в тот или иной момент поклониться Силе. Воины, хотя и свободные и отлично вооруженные, уязвимы ничуть не меньше других:

Если ж кого-либо шумного он находил меж народа,
Скиптром его поражал и обуздывал грозною речью.

Но и Ахиллес, гордый и непобедимый герой, плачет в начале поэмы от унижения и беспомощности, когда на его глазах уводят женщину, которую он хотел взять в жены, — а он не может и пальцем пошевелить.

...Тогда, прослезясь,
Бросил друзей Ахиллес, и далеко от всех, одинокий,
Сел у пучины седой, и, взирая на понт темноводный,
Руки в слезах простирал...

Агамемнон сознательно унижает Ахиллеса, дабы показать, кто тут главный:

"...чтобы ясно ты понял,
Сколько я властью выше тебя, и чтоб каждый страшился
Равным себя мне считать и дерзко верстаться со мною!"

А спустя несколько дней уже главный военачальник, в свою очередь, плачет, принужден покориться и молить, испытывая всю меру унижения от того, что мольбы его напрасны.

Никто не избавлен в поэме также от того, чтобы испытать постыдный страх. Герои трепещут, как и простые смертные. Однажды

это случается даже с Ахиллесом: он дрожит и стонет от страха, правда, не перед человеком, а перед рекой. За исключением Ахиллеса, каждый в тот или иной момент испытывает не только унижение от страха, но и от поражения в битве. Героизм и храбрость значат для достижения победы куда меньше, чем слепая судьба, которая представлена золотыми весами Зевса:

Зевс расprostер, промыслитель, веса золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий троян конеборных и меднооружих данаев;
Взял посредине и поднял: данайских сынов преклонился
День роковой...

Поскольку она слепа, судьба устанавливает слепую же справедливость, которая наказывает людей оружия смертью от меча. "Илиада" формулирует справедливость отмщением задолго до Евангелий и почти в тех же словах:

Арей беспристрастен: он убивает тех, кто убивает.

Если всем людям, уже только потому что они родились на свет Божий, суждено страдать от насилия, то здесь заключена истина, к познанию которой, однако, нагромождение внешних обстоятельств закрывает путь. Сильный человек не силен абсолютно, точно так же, как и слабый не абсолютно слаб, хотя оба они одинаково неспособны понять это. Они не верят, что сотворены из одного теста. Слабый соглашается с точкой зрения сильного на самого себя. Тот, кто обладает силой, движется так, будто вокруг него нет никого. Все дело в интервале между намерением и действием, ибо в этом интервале может приютиться мысль. Но для сильного не существует этого интервала, и ничто на свете не может заставить его задуматься. А там, где нет места мысли, нет места справедливости и благоразумию. Вот почему люди от оружия так грубы и безрассудны. Мгновенно погружают они оружие во врага, победительно описывают умирающему сопернику мерзости, которые предстоит претерпеть его мертвому телу. Ахиллес обезглавливает двенадцать троянских юношей перед погребальным костром Патрокла так же естественно, будто срезает цветы на могилу. Размахивая палицей силы, сильные не догадываются, что рано или поздно последствия их действий обернутся против них самих. Вот как это происходит: люди, которым судьбой отпущена Сила, гибнут, слишком полагаясь на Силу.

Они и не могут не погибнуть: не воспринимая свою мощь, как нечто лимитированное, они не воспринимают взаимоотношение

с другими людьми равновесием неравных сил. Другие люди слишком слабы, чтобы заставить их сделать ту самую паузу, во время которой только и может родиться внимание к брату-человеку, и они выводят из этого, что им, высшим существам, позволено все, а другим, низшим, не позволено ничего. И тут же — неизбежно — переходят границы отпущенной им Силы, поскольку не знают ее границ. И отдают себя на волю случая, и события более не подвластны им. Случай же иногда благоволит, в другой раз препятствует, а вот тогда они вдруг обнаруживают, что Сила покинула их, из героев они превратились в слабых людей, и, как слабые же люди, дают волю рыданиям.

Кара, которая со столь геометрической точностью постигает всякое злоупотребление Силой, была для древних греков принципиальным объектом размышлений. В ней средоточие греческого эпоса. Под именем Немезиды она — главная пружина развития действия в трагедиях Эсхила. Пифагор, Сократ, Платон — все отталкивались от нее в своих философских построениях о человеке и вселенной. Идея возмездия становилась знакомой в любом месте, как только туда проникал эллинизм. Вероятно, она продолжила жизнь под именем Кармы на Востоке, пропитанном буддизмом. Но Запад потерял ее, и ни в одном из своих языков не имеет даже слова, адекватно выражающего ее. Идеям ограничения, меры, равновесия, которые должны были бы определять жизненное поведение, отводится у нас холопская роль. Мы оказались геометрами только в делах материальных. Древние греки были геометрами прежде всего в деле обучения благу.

Умеренное пользование силой, при помощи которой человечество могло бы избежать цепной реакции взаимоуничтожения, требует для своего осуществления чего-то большего, чем обыкновенная добродетель. Оно требует качества не менее редкого, чем постоянное сохранение достоинства в слабости. Тут умеренность сама по себе тоже чревата опасностью, потому что, по крайней мере, три четверти успешности Силы базируются на том великолепном безразличии, которое сильные мира сего испытывают к слабым и которое, как вирус, передается самим же слабым. Но обычно не политическая идея подталкивает к злоупотреблению Силой. Скорей соблазн Силы настолько велик, что ему почти невозможно сопротивляться вопреки всем идеям. Благоразумные слова звучат в "Илиаде" то здесь то там, — вот, например, слова

Терсита, которые разумны в высокой степени. Или же слова Ахиллеса, произнесенные в минуту горести:

С жизнью по мне не сравнится ничто: ни богатства, какими
Сей Илион, как вещают, обилвал, — град процветающий
В прежние мирные дни, до нашествия рати ахейской...
Можно все приобрести, и волов, и овец сереброрунных,
Можно стяжать и прекрасных коней, и златые треноги;
Душу ж назад возвратить невозможно; души не стяжаешь...

Но беда в том, что благоразумные слова произносятся впустую. Если их говорит подчиненный, он немедленно наказан, его заставляют замолчать. Если же держит речь военачальник, слова у него расходятся с действием, тем более, что он всегда сумеет найти Бога, который подаст совет, противоположный здравому смыслу. Получается так, что, в конце концов, самая мысль, что можно мужчине быть еще кем-нибудь, а не только воином, что можно избежать профессии-любимицы судьбы, предписывающей убивать и быть убитым, совершенно испаряется из сознания:

нами, ...мужами, которым
С юности нежной до старости Зевс подвизаться назначил
В бранях жестоких, пока не погибнет с оружием каждый!

Как видно, уже в те далекие времена воины умели ощущать себя "совершенно приговоренными".

Воины пойманы в данную ситуацию посредством простейшей западни. Они выступают в поход с легким сердцем, бряцая доспехами. Еще бы: рука на рукоятке меча, а врага и на горизонте не видно, как тут не опьянеть духом. Если только душа не смущена известием о могуществе врага, воин всегда склонен переоценивать свою силу. Отсутствующий враг не способен наложить на него ограничительное ярмо реальности. Никаких принуждений в сознании тех, кто под звуки фанфар выступают вперед, и вот почему война начинается для них, как игра, как праздник, освобождающий от однообразия повседневных обязанностей.

Для большинства воинов, однако, подобное состояние души длится недолго. Рано или поздно приходит день, когда то ли страх, то ли поражение в битве, то ли смерть товарища по оружию наносят слишком сокрушительный удар и приходится-таки подставить шею под ярмо нужд реальности. Тогда конец снам и играм. Боец, наконец, понимает, что война действительно существует. Реальность же войны ужасна, куда как слишком ужасна, чтобы можно было вынести ее: война приносит смерть. Думать о смерти

постоянно невозможно. Мысль о ней вспыхивает моментами, когда человек осознает неизбежность конца. Это правда, — с одной стороны, каждый человек должен умереть, а с другой, — солдат может дожить до седин. Но для тех, чьи души впряжены в ярмо войны, взаимоотношение между смертью и будущим выглядит иначе, чем для остальных людей. Для остальных людей смерть представляет собой признанный предел их жизни, находящийся где-то в будущем. Для воинов смерть сама по себе есть их будущее, необходимый аксессуар их профессии. Такое положение, когда будущее есть смерть, — противоестественно. Как только практика войны открывает глаза на факт, что ты можешь умереть в каждый следующий момент времени, уму нельзя просуществовать ни часа без того, чтобы еще и еще раз не прокрутить видение всевозможных видов и аспектов умирания. Находиться под таким напряжением, вообще говоря, сознание способно только короткими урывками. А между тем рассвет каждого нового дня приносит одну и ту же реальность. Дни идут за днями, складываясь в годы, и каждый день душа должна производить над собой хирургическую операцию, отсекая надежды и планы на будущее, и скальпелем здесь служит непрерывное напоминание о смерти. Вот так-то война убивает всякую цель, которую люди могли бы себе поставить, включая даже ту цель, ради которой она начиналась. Смерть и насилие — пока вы не попали в подобную жизненную ситуацию, она кажется непостижимой, но как только вы внутри нее, вам непостижимо, что она может когда-нибудь закончиться.

Тем не менее душа под властью войны все-таки взывает к освобождению; но освобождение теперь является людям под маской трагедии и в форме полного разрушения. Умеренный и разумный конец страданиям оставил бы сознание лицом к лицу с перенесенными или совершенными актами насилия, и как пережить это? Люди полагают, что только в упоении Силой найдут забытые от перенесенных боли, страха, смерти друзей, от воспоминаний о совершенных ими массовых убийств. Да и кроме того, мысль, что после стольких усилий, ничего толком (кроме страданий) не достигнуто или всего лишь так мало достигнуто, язвит глубоко:

Как? Со срамом обратно, в любезную землю отчизны
Вы ли отсель побежите, в суда многоместные реясь?
Вы ли на славу Приаму, на радость троянам Елену
Бросите, Аргоса дочь, за которую столько ахейя
Здесь под Троей погибло, далеко от родины милой?

Что Улиссу до Елены? И даже что ему до Трои со всем ее богатством? Разрушив Трою, не восстановишь ведь Итаку! Но Елена и Троя важны для греков только потому, что из-за них было пролито столько крови и слез. Становясь хозяином положения вещей, вдруг обнаруживаешь себя хозяином над ужасными воспоминаниями. Душа, которая вопреки природе вынуждена уничтожить часть самой себя, дабы противостоять врагу, полагает, что может излечиться, только если уничтожит врага. А между тем не замечает, что смерть возлюбленных друзей подталкивает к иному соревнованию, порождает темное желание последовать их примеру. То же самое отчаяние и гнев, которые подталкивают к убийству, делают смерть привлекательной вообще:

Я знаю и сам, что судьбой суждено мне погибнуть
Здесь, далеко от отца и матери. Но не сойду я
С боя, доколе троян не насыщу кровавою бранью.

Человек, который одержим подобным двойным притяжением к смерти, принадлежит, если его ничто не изменит, уже к иной расе, нежели остальное человечество. Когда поверженный умоляет сохранить ему жизнь, какое эхо может найти подобное желание в сердце, в котором живет одно отчаяние? Простой факт, что победитель вооружен, а побежденный безоружен, лишает жизнь последнего — малейшей крохи значения. Как может тот, кто разрушил в себе самую мысль о радости, которую может принести свет завтрашнего дня, снизить к покорным и напрасным мольбам поверженного?

Ноги объеблю тебе, пощади, Ахиллес, и помилуй!
Я пред тобою стою, как молитель, достойный пощады!

А теперь посмотрим, что за ответ получает эта робко выраженная надежда.

Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?
Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный!
Видишь, каков я и сам, и красив, и величествен видом;
Сын отца знаменитого, мать имею богиню!
Но и мне на земле от могучей судьбы не избежать;
Смерть придет и ко мне поутру, ввечеру или в полдень,
Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет...

Человек, который задушил, изрубил на куски в себе самый зародыш желания жить, должен был бы сделать сверхъестественное усилие, чтобы проявить сердечную щедрость к праву другого че-

ловека на жизнь. У нас нет никаких оснований полагать, что кто-либо из гомеровских воинов способен на такое усилие, за исключением, может быть, Патрокла. В некотором смысле Патрокл занимает центральное место в "Илиаде", где о нем говорится: "Он знал нежность ко всему". Но скольких людей, на которых лежит печать такой божественной духовной щедрости, найдем мы во всех тысячелетиях истории? Сомнительно, если двух-трех. По недостаточности этой сердечной щедрости воин-победитель превращается в подобие стихийного бедствия. Одержимый войной, он так же, как и раб, только иным образом, превращается в вещь, и слова не имеют более над ним никакой власти. Столкнувшись с Силой, и воин, и раб пострадали в одинаковой степени: один оглох, другой онемел.

Такова природа Силы. Ее способность преобразовать человека в вещь обоюдоостра. Разными путями, но с одинаковым успехом она поражает души тех, кто страдает, и тех, кто приносит страдание. Могущество Силы в этом смысле достигает своего пика в середине битвы, когда победа начинает склоняться на чью-нибудь сторону. Результат битвы решается не теми, кто рассчитывал и планировал ее, и не теми, кто принимал и осуществлял решения на поле брани, но теми, кто как раз потерял всякую способность рассуждать и превратился либо в инертную материю, которой имя пассивность, либо в слепой смерч, имя которому молниеносность. Здесь заключается последний секрет войны. Секрет, который "Илиада" раскрывает, сравнивая воинов с грозными явлениями природы: бурей, ветром, наводнением, свирепыми животными, короче говоря, со всеми явлениями буйства внешних человеку сил.

Искусство войны есть ни что иное, как искусство вызвать в людях подобные изменения. Материальные завоевания, деяния героев, даже убийство врага — все это лишь средства, а не цель войны, потому что истинная ее цель: переродить души сражающихся. Эти перерождения — всегда тайна, и творятся они богами, поскольку боги возбуждают человеческое воображение. И тут же случается то, о чем мы говорили раньше: вступает в права обоюдоострая способность Силы превращать людей в камень, от которой спасти может только чудо. Чудеса подобного рода необыкновенно редки и длиться недолго.

Легкомысленность и капризность тех, кто манипулирует людьми или вещами, которые зависят (или, как им кажется, зависят) от их воли; отчаяние, толкающее воина на разрушения; предмечивание, которому подвергаются победители и рабы; убийство, следующее за убийством, — все эти детали создают картину полного до однообразия ужаса. Картину, в которой главное действующее лицо — Сила. И *“Илиада”* легко могла бы превратиться в произведение разочаровывающе монотонное, если бы не вспыхивали то там, то здесь в ее тексте игрой чистой воды моменты божественного озарения душ. Моменты, когда душа просыпается, увя, чтобы снова потерять самое себя в бескрайних просторах империи Силы. А все равно, она просыпается, чистая и целостная; и осознает себя. И нет в ней тогда места двусмысленности, тревожным или противоречивым чувствам: храбрость и любовь заполняют ее до краев. Иногда человек способен обрести свою душу в размышлении с самим собой, когда он пытается, как Гектор перед стенами Трои, без помощи богов или людей, взглянуть в лицо своему предназначению. В других случаях он обретает ее через любовь.

Такие моменты редки в *“Илиаде”*, но и их достаточно, чтобы вызвать вдруг острую жалость к прошлым и будущим жертвам насилия. Одно только перечисление актов насилия — а сколько их в *“Илиаде”*! — оставило бы поэму холодным произведением, если бы не оттенок горечи, который дает себя знать на протяжении всей поэмы и который выражен иногда одним лишь словом, иногда — одной лишь игрой стиха. Вот что делает *“Илиаду”* уникальным памятником человеческого духа: горечь ее автора по отношению к реальному положению вещей в мире (или куда ближе сказать — в войне?) людей. Горечь эта проистекает из нежности к человеку и, как свет солнца, падает равно на всех и каждого. И она ни разу не опускается на уровень жалобы. Несмотря на царящие повсюду несправедливость и насилие, мы ощущаем присутствие еще выше, над ними, идей справедливости и любви. Ничто, драгоценное сердцу человеческому, не презирается, суждено ему погибнуть или нет. Лишения и горести людские показаны без лицемерия или пренебрежительности. Никто не вознесен выше человеческой природы и никто не опущен ниже нее. Сожаление выражается по поводу всего, что подверглось разрушению и уничтожению. Победители и побежденные одинаково близки нам, взятые в одной и той же перспективе, — сотоварищи по роду людскому. Если кому-то

и оказывается в этом смысле преимущество, то только поверженному страдальцу.

Когда обреченный Гектор бежит от Ахиллеса, он минует фонтан невдалеке от стен Трои — и вдруг элегия воспоминания:

Там близ ключей водоемы широкие, оба из камней,
Были красиво устроены; к ним свои белые ризы
Жены троян и прекрасные дщери их мыть выходили
В прежние, мирные дни, до нашествия рати ахейской.
Там прорисали они, и бегущий, и быстро гонящий.

Короткие воспоминания о мирной жизни вызывают боль уже тем, что вдруг ясно ощущается, насколько она была покойна и полна смысла:

Долго так длилось утро и день возрастал светоносный,
Стрелы и тех и других поражали, и падали вои.
В час же, как муж дровосек начинает обед свой готовить,
Сев под горою тенистой, когда уже руки насытил,
Лес повергая высокий, и томность на душу находит,
Чувства ж его обымает алкание сладостной пищи, —
В час сей ахейне силой своей разорвали фаланги...

Все, чему нет места во время войны, все, что война разрушает или грозит разрушить, "Илиада" поэтизирует. Наоборот, переход от жизни к смерти преподан жестко реалистично:

Вырвалась бурная медь: просадила в потылице череп,
Вышибла зубы ему; и у падшего, выпучась страшно,
Кровью глаза налились; из ноздрей и из уст растворенных
Кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти.

"Илиада" — истинное чудо, явившееся к нам из глубины веков. Горечь, которой она проникнута, направлена на объект, единственно достойный горечи: подчинение человеческой души Силе, что означает, — скажем, наконец, прямо — подчинение души материи. Подобному подчинению подвержены все смертные, хоть и в неравной степени, в зависимости от степени чистоты и благородства их душ. Никто в "Илиаде" не избегнет участи, точно так же, как никто не избегнет ее в реальной жизни. И никто не презираем за свою слабость. Если же кому-то удастся хоть на короткий срок ускользнуть из-под имперской власти Силы (в глубине души или в человеческих взаимоотношениях), он возлюблен, но возлюблен с болью, поскольку опасность разрушения постоянно висит над его головой.

Таков единственный эпос, созданный западной цивилизацией. "Одиссея" уже выглядит имитацией, — иногда "Илиады", иногда восточных поэм. "Энеида" это тоже имитация, которую, несмотря на блеск стиля, портят холодность, помпезность и плохой вкус. Средневековые баллады не сумели подняться до величия беспристрастной справедливости. В "Песне о Роланде" смерть главного героя мы ощущаем иначе, чем смерть его врага. Только аттическая трагедия, — по крайней мере, у Эсхила и Софокла, — представляет собой истинное продолжение эпоса. В ней идея справедливости освещает все своим светом, при этом оставаясь в стороне. Сила является во всей своей жестокости и холодности, фатально разя налево и направо, и тех, кто ею обладает и тех, кто страдает от нее. Унижение души, попавшей в тиски несчастья, ни в малейшей степени не приукрашивается, но и не становится объектом снисходительной жалости или, наоборот, презрения. Не раз и не два человек, деградирующий под бременем бед, превозносится как достойный восхищения. Наконец, Евангелия суть последние и наиболее прекрасные свидетельства греческого гения (точно так же, как "Илиада" — его первое выражение). Дух Греции присутствует в них не только благодаря призыву искать, отвергая все другие виды добра, "царства Божьего и справедливости в нем", но и откровенно человеческих страданий в беде посредством откровения страданий существа божественного происхождения, которое одновременно есть человек. Евангелия повествуют о том, как святой дух, обитающий в человеческом теле, "уукрачивается" в несчастье, трепещет перед лицом физических страданий и смерти, в момент глубокой агонии ощущает себя покинутым людьми и Богом. Умение прямо и просто показать несчастье людей и меру нищеты их духа несет на себе печать греческого гения. Это то же самое умение, которое составляет главную ценность аттической трагедии и "Илиады". Некоторые строки Евангелий звучат удивительно похоже на прозвучавшее уже в эпосе. Когда Христос говорит св. Петру: "Другие свяжут тебя и повлекут, куда не захочешь идти по своей воле" — мы вспоминаем о троянском юноше, посланном против его воли в Аид. Чувство, заложенное в "Илиаде", неотделимо от идеи, вдохновляющей Евангелия. Ибо понять человеческие страдания можно только, познав справедливость, и обязательное условие здесь — любовь. Тот, кто не понимает, насколько повороты судьбы и нужда влияют на душу человеческую, никогда не сможет ни обращаться, как с равными себе, ни возлюбить, как самого

себя, тех, кто отделен от него пропастью иных жизненных обстоятельств. Разнообразие ограничений, которым подвержена человеческая натура, таково, что создается впечатление, будто некоторые люди слишком разны и неспособны даже общаться друг с другом. Но тот (и только тот), кто знает, какова империя Силы, и свободен от поклонения ей обретает способность к любви и справедливости.

Взаимоотношения между человеческой душой и предназначенной ей судьбой; до какой степени душа способна формировать свою собственную судьбу; какая часть души каждого человека претерпевает изменение под действием безжалостной необходимости и по капризу судьбы и какая именно часть, сообразно с ее благородством и чистотой, остается нетронутой — все это вопросы, размышляя над которыми так легко и соблазнительно впасть в обман. Гордость, унижение, ненависть, презрение, безразличие, желание забыть или пройти мимо только увеличивают опасность соблазна. Особенно редко сталкиваешься с правдивым изображением несчастливой судьбы. Рисуя ее, почти всегда впадают в две ошибки: во-первых, верят, что деградация неудачника есть его врожденное качество, а во-вторых, — легкомысленно — что бедствие, постигшее душу, не оставляет на ней своей печати, не изменяет, не уродует сознание человека (и именно конкретно, присутствующим и понятным одному ему способом). Древние греки обладали, по счастью, достаточной душевной силой, чтобы избежать самообмана. За это они были одарены знанием, как обрести ясность видения мира, чистоту и простоту слов. Но дух, который перешел от "Илиады" к Евангелиям, несомый по эстафете веков философами и трагическими поэтами, не пересек временные границы греческой цивилизации. Все, что осталось нам от эллинизма, это — размышлять "по поводу".

Римляне и евреи полагали, что им дано быть исключениями, что обычные человеческие бедствия их не касаются. Римляне — поскольку судьба избрала их в правители мира, евреи — поскольку Бог выделил их своей любовью (но и выделены они ровно в той степени, в какой послушны Ему).

Римляне презирали иноземцев, врагов, побежденных, данников, рабов; и от римлян не осталось ни эпоса, ни трагедий. Евреи ощущали в бедствиях человека следы его греховности и, таким образом, находили законную причину презирать бедствие. Они видели своих побежденных отвратительными в глазах Бога и потому

осужденными в несчастиях искупать грехи. Таким образом, жестокость не только санкционировалась, но и становилась необходимой. Во всем Ветхом Завете, кроме, быть может, определенных частей книги Иова, нет ни одной ноты, которая была бы резонансна греческому эпосу*.

Сквозь все двадцать веков христианства римлян и евреев превозносили, читали, имитировали в действии и слове, цитировали каждый раз, когда нужно было оправдать преступление. Но и сам дух Евангелий не был передан во всей своей чистоте последующим поколениям христиан. Несмотря на восторг, с которым Возрождение открывало для себя эллинскую культуру, дух древней Греции так и не возродился. Возможно придет день, когда гений эпоса вновь осенит народы Европы. Тогда люди научатся признавать факт, что никому не дано уберечься от судьбы, и еще они научатся, как ни при каких обстоятельствах не поддаваться обаянию силы, ненависти к врагу и презрению к бедствующему. Возможно такой день придет. Но вряд ли он близок.

Перевели с французского Кэтрин Темерсон и Александр Суконик

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

(Из статьи профессора М. Гринберга "Бог и человек")

Анализ проблемы Силы и отношения к Силе, как они выражены в Торе, открывает постоянную и глубокую напряженность, порожденную сложностью вопроса. С одной стороны, Сила — необходимость, с другой — опасность. Народ нуждается в Силе, — чтобы обрести Землю Обетованную, создать государство, защитить свое существование. Но обладание Силой опьяняет. Возникает стремление преступить границы, полагаемые Силе Законом. Народ или человек, преступивший Закон, подпадают под власть иллюзии, будто они властвуют над Законом, а не Закон над ними. В конечном счете, это ведет к самоуничтожению. Вот почему и Тора, и пророки обнаруживают большую чуткость к различению между Силой, как таковой, и ее применением к себе подобным.

Источник Силы, по Торе, — Бог. Божественное применение Силы имеет две цели — создание мира и утверждение в нем справедливого порядка. Бог сообщает первым людям (сначала Адаму, позже — Ною) условия этого

~~Этот комментарий не соответствует действительности.~~
* Это замечание С. Вайль не соответствует действительности. Об отношении евреев к Силе см. "Вместо комментария".

порядка. Они сообщаются в виде приказов (заповедей). Заповеди эти есть, в сущности, ограничения Силы: не применять ее для того-то и того-то (для убийства, насилия и т. п.). Трудность установления Божественного порядка состоит в том, что высшему авторитету непрестанно противостоит стремление человека посягнуть на этот авторитет, отбросить ограничения и обрести Силу в полноправное распоряжение. В конечном счете, это стремление обращивается против самих людей и вынуждает к поиску иных путей установления Божественной справедливости. Не преуспев в рамках первого человечества — до потопа, Бог избирает малую его ячейку, семью Авраама, внутри которой повторяет начальный эксперимент. Эту ячейку Он намерен “воспитать” (поднять) до уровня царства святых и народа священников. Внутри нее Он устанавливает Свой порядок в виде системы юридических и нравственных заповедей, которые образуют Закон. Отличие этого Закона от кодексов, выработанных другими народами, состоит, прежде всего, в нравственных ограничениях, налагаемых на применение Силы (не угнетай раба своего, ибо сам ты был рабом в земле Египетской и т. п.). Другое важнейшее отличие связано с открытостью, публичностью этого кодекса, который предназначен для воспитания общества и исправления характера народа. Он формулируется поэтому так, чтобы быть понятным каждому. Моше-Рабейну провозглашает его вслух, как ему было сказано: “Говори к сынам Израиля”. Иными словами, Божественный авторитет утверждается с широкого согласия всего народа, а не в одностороннем порядке. У Бога нет иного пути превращения всего народа в народ священников, кроме добровольного согласия этого народа взять на себя бремя ограничений своей Силы.

Если присмотреться к юридическим основам еврейского Закона, то становится очевидным, что они направлены на рассеивание (децентрализацию) очагов Силы и предотвращение ее концентрации в каком-либо одном очаге. Очагов Силы (престижа, власти) в обществе много: старейшины, судьи, священники, цари. Их престиж защищен заповедями, и посягновение на него влечет строгое наказание, вплоть до смертной казни. Но главное в этом престиже, — что он от Бога. Он принадлежит тем, кто приводит в исполнение Божью Волю. Нет иерархии Силы, как нет и ее централизации — именно потому, что единственным реальным центром Силы является Бог, а не отдельный человек (или отдельные люди). Даже в отношении государства просматривается та же тенденция — предотвратить сосредоточение в царских руках слишком большой власти, построить реальность так, чтобы избежать чрезмерной концентрации власти и престижа, чтобы обуздать человеческую гордыню ради ее же пользы.

Та же тенденция проявляется и в устройстве экономического базиса. Один из столпов экономики того времени — владение землей. Примечательно, что Бог не столько “дает” Своему народу землю, сколько обещает ее. Исполнение обещания обусловлено выполнением заповедей, нарушение их влечет за собой наказание. Все законы Торы подчеркивают, что владение землей в действительности — в руках Бога. Например, требование не работать в субботу (даже в разгар сезона) подкрепляется угрозой смертной казни. Это требование исходит не из соображений прибыли или убытка. Оно предназначено напомнить, что земля принадлежит Богу. Та же мысль кро-

ется в учреждении юбилейных лет, когда все земельные сделки объявляются недействительными и все приводится к тому первоначальному виду, в котором Бог распределил землю между коленами Израилевыми. В сущности, все это законодательство направлено на предотвращение чрезмерного сосредоточения земли в немногих руках: кто будет стремиться к этому, зная, что в юбилейный год его приобретения все равно станут недействительными? Аналогично, законы, касающиеся прощения долгов и прощания, освобождения рабов и т. д., направлены на недопущение чрезмерной концентрации имущества, то есть опять же престижа, власти, и, в конечном счете, Силы, способной соперничать с Божественным авторитетом.

Более того, в этой системе отчетливо видна еще одна принципиальная тенденция: рассеять, децентрализовать не только материальную, но и духовную исключительность. Это проявляется в стремлении распространить во всем народе ясные представления о том, как действует Божественная система. Только это и делает в глазах народа приемлемыми полномочия, которые Бог дает земной власти. У народа есть критерий Божественной справедливости, с которым можно сравнивать действия судей, священников и царей. Лишь выполнение ими заповедей Бога делает их полномочными. Система запретов, налагаемых Торой на судей, священников и царей, предназначена показать всю ограниченность их власти.

Короче говоря, все содержание Торы подчеркивает единственный — Божественный — источник Силы и ограничивает все человеческие источники — тем, что публично, открыто для народа показывает их вторичность, то есть подчиненность высшей Силе.

Этот путь предотвращения чрезмерной концентрации Силы напоминает принципы, по которым действует демократическая система современного общества. Он избран в соответствии с главной целью — создать (воспитать) общество, по собственному желанию и убеждению формируемое вокруг духовных ценностей — общественной справедливости и преданности высшему идеалу. Материальные ценности, включая собственно Силу, даются в такой системе не как орудие для самовольного использования и не как самоцель, а как награда за следование общества духовным ценностям, как подарок, свидетельствующий о Божьем всемогуществе. Так, победа над Амалеком не есть следствие большей еврейской Силы, а выживание евреев в пустыне не обусловлено какой-либо их самодеятельностью; и то, и другое имеет смысл урока: не Силой, а Божьей волей жив человек, не к материальному, а к духовному следует ему стремиться, и тогда наградой за это стремление будет достижение материальной цели.

Исторически, однако, любой шаг по пути развития общества вел одновременно к появлению новых и новых очагов концентрации Силы в руках отдельных людей. Эта двойственность стала особенно очевидной с возникновением государства. Призванное защитить общество извне (при сохранении всех законов справедливости внутри), оно могло достичь своей цели лишь при условии объединения всех сил нации. Таким образом, сама природа государственности противоречила первоначальному Замыслу и ставила его на службу своим целям. Это противоречие и породило возникновение в еврейской среде института пророков, который с государственной точки зрения был явлением консервативным и даже регрессивным, поскольку

стремился вернуть ситуацию к первоначальной, основанной не на человеческой Силе, а лишь на вере (в книге Исаяи мир между народами представлен как следствие их преданности Божьему идеалу: когда народы разочаруются в ложной безопасности, основанной на Силе, и обратятся к Богу, они обретут подлинный мир).

В силу своего консерватизма пророки не сумели выработать новую, приспособленную к требованиям реальности общественную модель и сформулировать ее в виде новых предписаний Галахи (Закона). В их книгах мы видим лишь непрестанно возрастающую напряженность между идеалом и реальностью. Диалектика Силы усложняется. Хотя Сила первоначально есть лишь награда за объединение народа вокруг духовных идеалов, но условием такого объединения является существование народа, а оно, в реальных условиях разделенного мира, может быть обеспечено только Силой, как государственным орудием. Народ Израиля призван помочь устранению Силы из мира, но условием выполнения им этой задачи оказывается обладание Силой.

Тора и пророки не решают это диалектическое противоречие. Они его "снимают", вводя принципиальные нравственные ограничения на применение Силы. Эти ограничения сводятся к требованию, чтобы Сила применялась лишь для выполнения заветов Бога. Смысл этого требования в том, что оно подчеркивает иллюзорность силовых решений. Сила ничего не решает, ибо все в руках Бога. И победа, в конечном счете, гарантируется не Силой, а Божьим благословением. Применение Силы всегда связано с риском утраты тех духовных ценностей, во имя которых она применяется. И если человек осознает этот риск, он обращается к поиску мира.

Перевела с иврита Н. Гутина

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета иудейских забот", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге — от аутентичных самиздатских материалов до последних публикаций в израильской печати, — объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории и дают читателю со вкусом к этим вопросам бесценный материал для раздумий.

300 стр.

16 долларов

Первое слово, которым открывается "Шулхан арух" гласит: "Быть сильным" ("итгабер"). Из того же еврейского корня, "гбр" происходит слово "гибор", что значит "герой". "Героизм" — одно из тех нагруженных значением слов, которые относятся к человеческому сознанию, воле и поведению; его очень трудно определить формально. Можно сказать, что понятие "героизма" неизменно связано с борьбой между сознательным, основанным на убеждениях решением, которое человек намерен реализовать, и естественным, бессознательным, возможно — даже существующим помимо воли, стремлением. Если в такой борьбе сознательная воля человека берет верх над его природой — это героизм. Именно это подразумевает "Танна", когда говорит: "Кто герой? Тот, что побеждает свои страсти". Всякий героизм предполагает испытание и борьбу с соблазном.

Поэтому героизм возможен на любом уровне человеческого существования, когда природа человека влечет его к "выгоде", "наслаждению" или "достижению", меж тем как путь к удовлетворению такого желания заблокирован некоторыми принципами или нормами, следование которым рассматривается как долг и достоинство.

Иешаягу Лейбовиц

**"В ДЕЯНИЯХ ВЕЛИКИХ
И В ВОЙНАХ..."**

Если в такой ситуации человек добровольно, а не вынужденно, отказывается от удовлетворения своего желания, его поведение можно назвать героическим — это преданность принципам, которая ничего не “дает” (в объективном смысле слова), а напротив требует и обязывает.

Подобный героизм возникает, когда средства достижения цели — будь то жажда власти, богатства, престижа, сексуального удовлетворения — противоречат принятым человеком ценностям и путь такого достижения видится как неприемлемый. К таким запретам относятся обязательства, которые не связаны с естественными, экзистенциальными, социальными или психологическими факторами, а напротив принимаются даже вопреки объективным обстоятельствам, вопреки личной “выгоде”. В этой категории мы находим, например, решительную преданность своему народу или родине даже в таких обстоятельствах, когда измена им является самым легким выходом. Сюда же относится принятие на себя бремени Божественной воли, бремени Горы и ее заповедей — и именно об этом героизме говорит “Шулхан арух”.

Самым мощным стремлением — более мощным, возможно, чем стремление к власти, богатству и почету, — является воля к чисто физическому выживанию: привязанность к жизни, страх смерти, инстинктивное уклонение от опасности. Ценности измеряются той ценой, которую человек готов платить за них, иногда самой его жизнью: “Освящение Имени” (то есть мученическая смерть за веру), смерть ради друга, смерть за отечество, за свободу, за справедливость, за честь (или то, что человек считает свободой, справедливостью и честью). Героизм предполагает, что человек готов рискнуть своей жизнью, вплоть до самопожертвования, во имя того, что он считает высшей ценностью; такой героизм может проявиться в самых разных обстоятельствах: есть люди, которые бросаются в горящий дом, чтобы спасти ребенка, или в ледяную воду, чтобы спасти тонущего. Но в сознании большинства народов и культур героизм и героическая смерть связываются чаще всего с войной; и это толкование, которое сегодня преобладает и в Израиле, заслуживает серьезного размышления и обсуждения.

Что отличает героизм воина от всех других форм героизма? На первый взгляд, нет разницы между героизмом человека, который рискует жизнью ради спасения другого человека, и героизмом солдата, который рискует или жертвует своей жизнью ради

своего народа и страны. Более того, вполне может быть, что в жизни — без необходимости рисковать или жертвовать ею — существуют ситуации, требующие такого же героизма, какой проявляет солдат, жертвующий своей жизнью в бою. Есть, однако, нечто уникальное в войне: во всех других героических ситуациях человек борется с самим собой (“побеждает собственные желания”) и жертвует собственной жизнью, тогда как на войне он сражается с другим человеком и наряду с готовностью пожертвовать своей жизнью готов — по существу, это составляет его главную цель — отнять жизнь другого. Тем не менее именно этот вид героизма восхваляют более всего.

Независимо от ценностно-философской концепции героизма и различных его проявлений можно утверждать, что военный героизм является самым дешевым из его видов и самым распространенным в истории всех культур, — по контрасту с героической победой над страстями, явлением редким. Военный героизм никогда не ограничивается областью высшего и лучшего; он равно проявляется в области низшего и рядового. Иными словами, обычному человеку легче рискнуть жизнью в бою, чем противостоять каждодневному соблазну обрести силу, власть, сексуальное удовлетворение и тому подобное. Героизм, проявленный в бою, еще не свидетельствует о человеческом достоинстве того, кто этот героизм проявил. Тот факт, что данный человек — “герой” в военном смысле слова (“превосходный солдат”), еще не означает, что он является замечательным человеком. Это не предполагает за ним ни мудрости или сострадания, ни честности или достоинства. Напротив, человек, который героически преодолел желания, порожденные завистью, ненавистью, похотью или амбицией, наверняка принадлежит к немногим “избранным”.

Рассмотрим еврейскую концепцию войны в свете двух крайних отношений к ней, занимаемых человечеством в целом. Одно из этих отношений сводится к полному отрицанию: ничто не оправдывает использования оружия для убийства другого человека. Человеческая личность превыше всего и сохранение жизни составляет высшую цель человеческого поведения, если это поведение претендует называться моральным. Никакая цель не может оправдать отступления от этого принципа. Все человеческое: общество, народ, государство — менее значительно, чем задача сохранения человеческой жизни, и все ценности менее значительны, чем эта высшая ценность. Такого рода последовательный и край-

ний пацифизм редко встречается в истории цивилизации. В недавних поколениях он провозглашался лишь Львом Толстым и, в меньшей степени, Ганди — хотя и неясно, был ли пацифизм последнего следствием принципиальной этической установки или всего лишь искусной политической тактикой борьбы против британского господства. Толстой, однако, решительно проповедовал пацифизм — как это делал, вероятно, две тысячи лет назад человек, о котором мы не знаем абсолютно ничего, но который стал божеством у христиан.

Второе крайнее отношение рассматривает войну и битву как вершину человеческого существования, военный героизм как высшее проявление человечности и смерть в бою как высшее человеческое достижение. Эта концепция провозглашалась — и по сей день провозглашается — не только отдельными обществами (символами которых стали Спарта и, возможно, республиканский Рим), но и многочисленными мыслителями.

Между этими крайностями есть промежуточные позиции: отрицание войны наряду с пониманием ее необходимости в определенных обстоятельствах; признание войны как оправданного и даже необходимого способа достижения таких целей, которые превышают цели индивидуального или группового выживания; примирение с войной как средством предотвращения угрозы, которая считается страшнее смерти, или сохранения ценностей, без которых жизнь лишается смысла. Отсюда следуют различные оценки военной доблести и героизма в бою.

Иудаизм, как это следует из всей литературы и жизни десятков поколений евреев вплоть до — но не включая — последнего, отрицает войну — но не является пацифистским учением. В еврейских источниках, равно как в еврейской истории нельзя обнаружить пацифистскую позицию, наподобие обрисованной выше. Иудаизм признает войну фактом человеческого существования. Почему? — потому что человечество (и еврейский народ, как его часть) живет в еще не преображенном мире. В этом состоит, подчас жестокий, реализм иудейской Галахи, которая принимает мир таким, как он есть, и не считает его миром мессианской утопии. Преображенный мир, мир без войны, мир как совершенство (слово “Шалом” есть имя Бога!) существует в иудаизме лишь как предвкушение, как проекция гипотетического утопического мира. Но все, что Галаха (осмысливающая Тору) обсуждает

всерьез, относится к миру, как он есть, не преображенному и не спасенному.

Отношение Галахи к проблеме индивидуума указывает на ее отношение к проблемам группы. Самой большой (по охвату) из Шести Книг Мишны, этого главного и фундаментального воплощения галахического иудаизма, является Книга Очищения. Что в ней обсуждается? Пуповина и плацента, околоплодные воды и менструальная кровь, бубонная чума, гоноррея и нечистота трупа — вся эта биологическая грязь человеческого существования. Все эти вопросы обсуждаются в Галахе подробно и долго. Почему? Потому что таковы условия человеческого существования. Не то, чтобы — как сказано в последнем стихе Экклезиаста — “в этом весь человек”, но это определено часть человека. Человек состоит из различных экзистенциальных уровней, возвышающихся над биологическим; но уровень, который начинается с плаценты и кончается трупом, составляет неотъемлемую часть человеческого существования. И Галаха, охватывающая все человеческое существование в его служении Господу, уделяет этому уровню глубокое внимание.

Войну можно отнести к уровню коллективной нечистоты, коллективной “грязи” человеческого существования. Точно так же, как биологическая жизнь человека не совершенна, его коллективное существование в мире тоже не созершено. Оно включает войны — это факт; и хотя еврейский народ хранит мечту о другом мире, он живет в мире реальном, и Галаха занимается этим миром. Война является реальностью, и Галаха устанавливает законы войны, точно так же как она устанавливает законы нечистоты мертвецов.

История суверенной еврейской нации изобилует войнами. В любое время, когда евреи были способны вести войны, они и на деле были в них вовлечены. Не будем обсуждать, кто затевал эти войны; в любом случае, евреи воевали, и ни пророки Первого Храма, ни мудрецы Второго Храма не осуждали их за это.

Здесь, однако, мы сталкиваемся с весьма многозначительным фактом: самой судьбоносной войной в истории Израиля было Завоевание Земли — наступательная война Иосифа против тридцати одного царя, которая ознаменовала собой начало еврейского суверенитета в своей собственной стране. Эта война была также войной “по велению Торы” (“мицвой”). Но и эта война, с ее героическими деяниями и победами, не выделена в нашем кален-

даре. В нем нет дня памяти, благодарения или поминовения в честь завоевания Ханаана и его превращения в Землю Израиля, хоть это и было сделано по Божьему велению и осуществлено слугой Господа Иошуа бин-Нуном.

Примерно четыреста лет спустя царь Давид завоевал Иерусалим и превратил этот "город иевуситов" в "вечный дом", место Храма; но и это событие не отмечено в нашем календаре. И снова, еще двести лет спустя, среди царей Израилевых появился великий герой и воин, Иеровам бен-Иоаш, который "восстановил Израиль от Лаво-хамата до Аравского моря... и взял Дамаск и Хамат для Иуды в Израиле" — и этому событию уделено всего лишь три стиха во Второй Книге Царей, но никакого упоминания — в живой исторической традиции иудаизма. Современник Иеровама, пророк Амос, вместо того, чтобы воспеть героизм и победы этого спасителя Израиля, предсказывает гибель "злому" царю, его династии и народу. И Агада не находит возвышенных слов для Иеровама, если не считать упоминания, что он все-таки пощадил Амоса несмотря на резкие слова, сказанные пророком о нем.

Только войну хасмонеев и их победу, одержанную спустя столетия после дарования заповедей, народ Торы почтил восьмидневным праздником, включающим полный "Халлель" — что больше, чем установлено для семи дней Песах. Чем отличалась эта война от всех остальных?

Ответ такой: это была война во имя Торы и потому она обрела ореол святой войны. Даже завоевание Земли по приказу Господа не удостоилось такой святости. Следовательно, в иудаизме освящается лишь та война, которая ведется во имя Торы. Когда народ Израиля завоевывал Землю под водительством Иошуа, он совершал это не "ради Небес" (то есть не с религиозным намерением), а попросу для того, чтобы вступить в обладание тем, что было ему предназначено; и действительно, не успел этот народ осесть в дарованной ему Земле, как он тут же впал в идолопоклонничество. И царь Давид завоевал Иерусалим просто для того, чтобы основать там свою столицу и столицу Израильского царства. Эти войны и завоевания не были окружены ореолом религиозной святости — и тут мы подходим к особому отношению иудаизма к войне, военному героизму и победе. Это не всеобъемлющее пацифистское отношение, утверждающее, что любая война несправедлива, поскольку нет высшей цели, чем со-

хранение человеческой жизни. Согласно Торе, есть одна цель, стоящая выше сохранения человеческой жизни, — и это сохранение самой Торы. Напротив, ни одна “национальная война” не удостоивается в иудаизме религиозного значения. Сам царь Давид признал, что он оказался недостойн построить Храм, потому что пролил кровь в войнах — хотя это были войны еврейского народа.

Подчеркнем факт, который обычно забывают подчеркнуть в наших школах: война хасмонеев не была, в сущности, войной за “национальное возрождение” — она была гражданской войной между защитниками Торы и эллинизированными евреями. Начатая Мататьягу, когда он убил еврея, совершавшего языческое жертвоприношение, она была завершена двадцать пять лет спустя, когда Шимон захватил Иерусалимскую цитадель. В чьих руках она была тогда? В руках евреев; к тому времени она уже двадцать два года находилась под контролем эллинизированных евреев, а не греков. Политическая независимость, достигнутая в этой войне, была побочным следствием, а не частью первоначального замысла. И вот именно эта война — во имя Торы — удостоилась праздника в израильском календаре. Зато в наши дни люди, считающиеся выразителями религиозных взглядов и выступающие от имени еврейской религии перед лицом секулярных еврейских властей, установили религиозный праздник в 28-й день месяца Ийар в честь освобождения Старого города и Храмовой горы войсками Армии Обороны Израиля в 1967 году. То ли по непониманию, то ли намеренно, они игнорировали тот решающий факт, что на этот раз Храмовая гора была освобождена не евреями, защищающими Тору, а эллинизаторами нашего времени, защитниками секулярного национализма и государственности, отвергающими Тору.

Что касается военного героизма, то следует отметить, что еврейская традиция не содержит никаких восторженных слов по его поводу — и отнюдь не потому, что исходит из пацифизма. Мы уже видели, что война считается оправданной в некоторых условиях и обстоятельствах; поэтому воин должен исполнять свой долг, который включает также проявление героизма. При этом иудейские источники не восхищаются этим героизмом, как это принято во многих нееврейских культурах, включая самые просвещенные. Хануккальная молитва говорит о хасмонеях всего лишь, что они вели войну во имя Господа и спасли Тору; их воен-

ный героизм даже не упоминается; он предполагается само собой разумеющимся. Правда, молитва говорит о том, что “сильные были преданы в руки слабых”, но слово “сильные” (от того же еврейского корня “гбр”) относится в ней к грекам!

Человек должен быть хорошим солдатом, как он должен быть хорошим земледельцем, рабочим или врачом. Иудаизм не придает первостепенного значения военной доблести. Но сегодня расхожее мнение оценивает человека именно по этому признаку и даже полагает, будто военная доблесть искупает серьезные человеческие недостатки: человек может быть интеллектуально или морально низким, но “зато он первоклассный солдат”, “он героически показал себя в бою”. Верно, героизм — великое дело, но не обязательно военный героизм. Человек, преодолевший инстинкт выживания, этот, быть может, величайший человеческий инстинкт, и готовый пожертвовать собою ради великой цели, во имя которой он идет на битву, — несомненно, герой. Но не менее героичны другие, кто побеждает в себе жажду власти, силы и почестей. Военный героизм не выше всякого другого. И если его предпочитают другим, то это лишь свидетельствует о растущем преклонении перед Силой в израильском обществе.

Наши молитвы содержат поминовение святых общин, отдавших жизнь ради “Освящения Имени”, в котором они именуются, на образном языке Библии, “быстрее орла, сильнее льва”. Это говорится о евреях, которые никогда не держали в руках оружия, которые шли — как мы бы сказали сегодня — “точно овцы на бойню”. Мы стыдимся того, что они шли, как овцы на бойню, и приписываем это их “галутному вырождению” — в противовес прежним, библейским евреям и нашему собственному героизму сражающихся израильтян.

Но выражение “как овцы на бойню” родилось не в галуте, а на устах пророка Исайи, человека “библейского Израиля”. Говоря о том, кого он считал самым величественным образцом человека — о том, кто служит Господу, — Исайя охарактеризовал его следующими словами: “Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих”. Мы живем в мире, отличном от духовного мира пророка Исайи, и не думаем, что человеческое совершенство состоит в служении Господу в прямом смысле пророческих слов; но право же — не стоит ссылаться на “библейский геро-

изм", доказывая, будто сегодня мы вернулись к истокам иудаизма и преодолели "галутное вырождение". Если мы хотим говорить об "истинном иудаизме", он должен включать пророка Исаяю, а не только — и не столько — Бен-Гуриона, Ариэля Шарона или Рафаэля Эйтана.

Преклонение перед силой, восхищение военной доблестью, презрение к человеческой жизни — все это взаимосвязано. Можно привести еще один пример, свидетельствующий о нашем сползании к варварству и о проникновении духа насилия в самую сердцевину еврейского сознания в нашем обществе. Слова заупокойной молитвы, которой мы сопровождаем каждого умершего еврея, включают проникновенное выражение: "в лоно святых и чистых" — означающее, что покойный может вступить в это лоно; я не знаю более возвышенного текста. Но снова — люди, назвавшиеся сегодняшними выразителями еврейской религии (и во имя этой религии) дерзнули добавить еще одну категорию к поминанию наших сыновей и братьев, павших в войнах нашего поколения: "в лоно святых и чистых и героев".

Эти люди явно одержимы религиозно-национально-государственным тщеславием, которое мешает им понять, что "святые и чистые" уже и есть герои; они не понимают, что всякое добавление к тексту есть, по существу, умаление его. Почему они добавили "героев"? Потому что они имели в виду именно героизм, проявленный на войне. Но разве такой героизм свидетельствует в какой бы то ни было мере о человеческих достоинствах? Разве он доказывает, что человек заслуживает быть причисленным к "святым и чистым"? История учит, что герои войны могут быть и хорошими, и плохими людьми, и справедливыми, и жестокими. Мы восхищаемся героизмом израильских воинов, павших на стенах Иерусалима, защищая их от римлян; но разве римские легионеры были меньшими героями? В чисто военном смысле не было разницы между героизмом евреев и римлян; различие состояло в том, за что боролась каждая сторона.

Что можно сказать об этом человеческом отребье, о крестносцах, печально прославившихся своими убийствами евреев Спейера, Майнца, Вормса и самого Иерусалима, — разве они не были героями сражений? Эта ничтожная кучка людей прошла пешком всю Европу и Малую Азию, пересекла пустыни, отбила Иерусалим у мусульман и удерживала его против всего мусульманского мира в течение восьмидесяти восьми лет. А казаки —

эти погромщики русского царя — разве они не были героями на войне? И как бы ни было больно, следует признать: эсэсовцы, сторожившие лагеря Трешлинка, Освенцима и Майданека, тоже были героями в боях. Что ни говори, потребовались объединенные силы Британской империи, Советского Союза и Соединенных Штатов, чтобы победить их в шестилетней войне!

Звание “героя войны” еще не означает однозначной похвалы; но точно так же не следует рассматривать войну как обязательно нечто низкое. Одни герои войны — справедливые люди, другие — несправедливые; одни чисты, другие греховны. Поэтому добавление к поминальной молитве есть не более, чем выражение того духа восхищения Силой, который проник даже в религиозный иудаизм нашего времени.

Но куда более тяжелым грехом является возвышение военного героизма до уровня религиозной ценности и войны до уровня орудия веры. Об этом грехе было сказано еще две с половиной тысячи лет назад: “Живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: “Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много; итак нам дана земля сия во владение”. Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью, и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь; и хотите владеть землей? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого — и хотите владеть землей?” (Иезекииль, 33; 23–26).

И. Лейбовиц — профессор, бывший руководитель кафедры биохимии Еврейского университета в Иерусалиме; являлся главным редактором “Encyclopedia Hebraica”; автор книг “Вера, история и ценности”, “Иудаизм, еврейский народ и еврейское государство”, “Вера Маймонида” и др.; активный общественный деятель Израиля.

Вопреки мнению различных авторов, особенно марксистской ориентации, я разделяю взгляд, что система ценностей интеллектуалов, как определенной социальной группы, радикально отличается от системы ценностей других социальных групп и классов.

Прежде всего, я различаю между "интеллектуалами" и "интеллектуальной интеллигенцией". Хотя и те, и другие, как правило, имеют высшее образование, интеллектуалы составляют то меньшинство интеллигенции, которое занято творческим трудом, т.е. созданием новых вещей и идей, тогда как большинство интеллигенции, так называемая массовая интеллигенция, занята рутинными, повторяющимися функциями. Разумеется, границу нельзя провести резко, но если взять крайние примеры — такого ученого, как Эйнштейн, или писателя, как Фолкнер, с одной стороны, и зубного врача или инженера, с другой, то можно составить отчетливое представление о различии между этими двумя группами. Аналогичное деление проводили такие авторы, как Хофштадтер и Шильс.

Некоторые ценности играют в жизни интеллектуалов большую

Владимир Шляпентох

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ КАК
НОСИТЕЛИ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ
МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
ТАМ И ЗДЕСЬ**

Статья любезно предоставлена журналу автором и публикуется в обратном переводе с английского, с сокращениями, продиктованными соображениями объема.

роль, чем в жизни других людей. Эти ценности могут быть разделены на две группы — связанные с профессиональной активностью, или “эгоистические”, и связанные с поведением интеллектуалов как выразителей массовых стремлений, или “альтруистические”.

Эгоистические ценности

Специфика профессиональной активности интеллектуалов по-нуждает их больше, чем других людей, ценить **истину**. Я далек от мысли, будто они не искажают ее и не участвуют в ее сокрытии. В некотором отношении мало кто может потягаться в этом с интеллектуалами. Но при всем при этом только среди них можно найти заметное число людей, которые всю свою жизнь стремятся к постижению истины и заняты борьбой против лжи и фальсификации любого рода.

Интеллектуалы больше других групп ценят все, что связано с **политической свободой**, поскольку она необходима для их профессиональной активности. “Эгоистическая” заинтересованность интеллектуалов в политической свободе выдвигает ее в их глазах на более высокое место, чем экономические ценности.

Интеллектуалы больше других групп ценят **плюрализм, разнообразие, динамизм социальной жизни и творческую сторону деятельности**. В глубине души все они “перфекционисты”, постоянно занятые раздумьями о том, как улучшить социальную жизнь. Интеллектуалы придают большее значение **культурным ценностям**, а эстетические ценности, наряду с другими проявлениями человеческого духа, — вообще прерогатива интеллектуалов.

Советские социологи обычно лишены возможности свободно изучать ценностные ориентации людей, поэтому наиболее честные из них вообще исключают из своих опросных листов такие вопросы, как демократия, политическая свобода, компартия, марксизм и так далее. Тем не менее социальные опросы, проведенные советскими социологами, позволяют утверждать, что большинство советского населения в нормальных условиях характеризуется политической апатичностью и сильной ориентацией на “приватные”, т.е. личные ценности, — что обнаружено также и в других странах советского типа. Любопытно, что семья в этой системе ценится выше, чем труд, что хорошо характеризует низкую степень вовлеченности людей в общественные проблемы.

Но те же опросы показывают, что интеллигенция, а в особеннос-

ти интеллектуалы придают гораздо большее значение труду, творчеству и другим ценностям, которые могут считаться "общественными" (социально-ориентированными), а не "приватными".

Косвенное свидетельство значения для интеллектуалов такой ценности, как демократия, мы получили при изучении советских читателей. Опрашивая читателей "Литературной газеты" о том, достаточно ли внимания газета уделяет "проблемам социалистической демократии", мы получили всего 6% недовольных этим аспектом среди людей со средним образованием и 22% — среди людей с научными степенями. Если сравнить читателей "Литературной газеты" (преимущественно интеллигенцию) с читателями газеты "Труд" (преимущественно синие воротнички), то окажется, что первые ставили Солженицына во главу списка советских писателей, тогда как вторые — в самом низу списка, предпочитая ему "официальных" советских авторов, вроде Титова и Шемякина.

Интеллектуалы как носители "альтруистических" ценностей

Особенность интеллектуалов как социальной группы характеризуется не только их ориентацией на общественные ценности, необходимые им в творческой деятельности, но еще более — их преимущественной ориентацией на "ценности для других" — для общества и человечества в целом. Мирозрение большинства людей определяется чисто материальными интересами и потребительскими ценностями. Ни одна социальная группа так не заинтересована в ценностях, отражающих интересы общества в целом, как интеллектуалы.

Известно, что люди редко поднимаются до осознания своих групповых интересов. Такие интересы начинают преобладать только в условиях прямой угрозы всем членам группы или класса, и даже в этих обстоятельствах люди не всегда готовы подчинить личные цели общественным, как бы выгодно в конечном счете им самим это ни было. Тоталитарные режимы существуют именно потому, что рабочие, крестьяне и массовая интеллигенция обычно неспособны подняться в своем классовом сознании до уровня активного сопротивления этим режимам. Чудо польской "Солидарности" состояло именно в таком подъеме.

В то же время, как показывает опыт, люди куда более склонны предавать интересы своих групп и классов. Поразительно, с какой легкостью угнетатели и захватчики находят квислингов и полицаяв среди поработанных ими народов.

Учитывая это, можно утверждать, что среди интеллектуалов значительно больше людей, преданных "идеалам общества", чем в любых иных группах. Интеллектуалы защищают не столько ценности, существенные для их творческой активности, сколько ценности, которые считают жизненно важными для других людей. Интеллектуалы оказываются философами, идео-

логами, выразителями всякого массового движения, причем не как “слуги новых хозяев”, по определению Маркса, а как люди, увидевшие в таком движении (верно или неверно, другой вопрос) важный фактор развития общества или даже человечества в целом. Так называемые “буржуазные” философы поддерживали новый строй не потому, что он был буржуазным, а потому что видели в нем выражение интересов всех людей. И хотя Маркс любил прохаживаться по поводу “универсального” подхода буржуазных теоретиков, сам он тоже тяготел к созданию абстрактной и универсальной концепции; отрицая универсальность за другими, он охотно приписывал ее себе.

Некоторые авторы отрицают роль интеллектуалов как носителей общественных ценностей на том основании, что в массе они “эгоистичны” и ориентированы на потребительство. Но такой “статистический” подход затрудняет понимание социальной роли интеллектуалов, в особенности — роли личности в истории. Даже русские марксисты, которые в конце XIX века яростно отрицали такую роль, вынуждены были позднее признать решающее значение интеллектуалов для создания их собственной партии. Последующие события, связанные с именами Ленина, Сталина, Гитлера, Мао-Цзе-Дуна и Кастро, показали, что русские народники были не так уж наивны, выдвигая теорию “героев и толпы”. Новое подтверждение этому принесло диссидентское движение в недемократических странах. Совершенно очевидно, что существование одного такого человека, как Андрей Сахаров, оказывает огромное влияние на события. И такими людьми, выразителями общественных настроений, как правило, — за исключением Леха Валенсы и ему подобных, — являются интеллектуалы. Слой интеллектуалов, поглощенных общественными проблемами, действительно меньше, чем их же слой, занятый своими материальными проблемами, но совершенно очевидно, что люди типа Сахарова могут появиться только из интеллектуальной среды. Так называемая “историческая миссия рабочего класса” — освободить человечество — это абсолютный миф, но то, что интеллектуалы — почти единственные защитники униженных и оскорбленных в этом мире, — очень близко к правде. Пожалуй, только глубоко религиозные люди могут конкурировать с ними в этом.

Но даже если не соглашаться с наличием у интеллектуалов специфической моральной позиции, нельзя не признать, что только они способны **выразить** чувства и мысли ординарных людей. Даже в этой роли интеллектуалы незаменимы и потому действительно могут претендовать на особую социальную миссию — провозгласить “граду и миру”, что думают и чувствуют человеческие массы.

Ментальность интеллектуалов и коллективистские ценности

Ориентация интеллектуалов на общественные и социальные ценности и увлеченность интересами других людей во многом вытекает из повышенной роли абстрактных концепций в их жизни и деятельности, что обуславливает специфический характер их ментальности. В этой связи нельзя согласиться с П. Холландером, который объяснял увлечение американских интеллектуалов марксизмом и социализмом атеистичностью этой группы. Действительно, процесс секуляризации в нашем веке затронул все слои общества, но ес-

ли не-интеллектуалы реагируют на “сумерки богов” ростом цинизма, аморальности и пьянства, то интеллектуалы пытаются заменить старых богов новыми, но тоже нематериальными ценностями — как демократия, социализм, религия и национализм. Процесс разочарования во всех моральных ценностях, развивающийся в СССР, меньше затронул интеллектуалов, чем другие группы; среди интеллектуалов заметнее тяга к славянофильству и религии; и если они по каким-либо причинам отвергают прежних идолов — либерализм и неоленинизм, — то спешат заменить их другими, тоже духовными ценностями.

Обсуждая социальную роль интеллектуалов, нельзя избежать размышлений общего социологического характера. Мне представляется, что в человеческой психологии можно выделить два основных элемента — индивидуальный и коллективистский. С одной стороны, человек стремится к удовлетворению своих индивидуальных потребностей, с другой — уделяет значительное внимание интересам группы, общества, даже человечества. Анархисты любили подчеркивать наличие в человеке этих коллективистских чувств. Здесь не место обсуждать причины их возникновения. Я далек также от мысли, будто оба начала играют одинаково важную роль. Все исторические данные показывают, что первое начало сильнее второго. Крах марксизма в социалистических странах тоже подтверждает это. Моя убежденность в универсальном характере западной модели общества покоится именно на предположении, что при прочих равных внешних условиях индивидуалистское начало всегда побеждает. При всем этом, однако, нельзя преуменьшать и роль коллективистского начала. Его признает даже такой идеолог неоконсерватизма как И. Кристал. Более слабое, чем индивидуалистское, оно тем не менее неистребимо и, вкупе с мечтой о равенстве, объясняет, почему идеи социализма и коммунизма остаются привлекательными, несмотря на все, самые убедительные подтверждения их утопического характера.

Интеллектуалы — и в этом состоит моя мысль — это люди, которые более активно, чем другие социальные группы, выражают эту коллективистскую ориентацию. Их профессиональная специфичность с ее упором на творчество и абстрактные концепции предрасполагает их к этой социальной роли.

Интеллектуалы как носители универсальных ценностей

Интеллектуалы — это единственная социальная группа, которая склонна предпочитать универсальные, наднациональные ценности. В этом они еще больше отличаются от других социальных групп. Опять же речь идет не обо всех без исключения или даже большинстве интеллектуалов; но если подойти статистически, можно утверждать, что в этой группе число тех, кто ориентирован на универсальные ценности, намного больше, чем в любых других.

В этом вопросе, как и во многих других, интеллектуалы находятся в постоянном конфликте с правящей политической элитой, а также с массами, которые обычно склонны к национализму и недооценке универсальных ценностей. Весьма поучительна в этом плане борьба советских интеллектуалов. Советская идеология, вплоть до середины 60-х годов, вела жестокую атаку на “всечеловеческие” ценности, отвергая так называемый “абстрактный гуманизм”. Начиная с 1953 года, советская литература вела борьбу за восста-

новление таких ценностей. В этой борьбе можно выделить два направления: попытки восстановить универсальные социальные ценности — такие, как демократия, политические свободы и равенство; а с другой стороны — утверждение универсальных гуманистических ценностей — таких, как любовь, дружба, красота, верность, честность, лояльность к родителям и прошлому. В различные периоды усиливалась то одна, то другая сторона этого процесса, и можно выделить три таких периода: до начала 60-х годов оба направления были примерно равносильны, в 60-е годы преобладала гражданская тема, а в 70-е годы, с их интеллектуальной апатией и ростом славянофильства, усилилось звучание темы гуманистических ценностей. Это время было отмечено громадной популярностью таких журналов, как “Новый мир”, возрождением “запрещенных” авторов прошлого, — в первую очередь, Булгакова и Платонова, и таких лирических поэтов, как Есенин, Мандельштам, Пастернак, Цветаева и Ахматова, а также возникновением поэзии “бардов”, в которой Галич и Высоцкий представляли гражданскую, а Окуджава — гуманистическую линию. Настроения советских интеллектуалов этого периода отразились также в их предпочтении таких мастеров прошлого, как Толстой, Чехов, Достоевский, которые поднимали “вечные” проблемы, равно как и таких западных писателей, ориентированных на индивидуализм и гуманизм, как Хэмингуэй, Ремарк и Селлинджер.

Под давлением интеллигенции режим, искавший в то время определенной легитимации, пошел на некоторые уступки, что позволило до известной степени гуманизировать советскую идеологию, введя в нее ряд универсальных, даже абсолютных ценностей. Характерным примером такой эволюции официальной идеологии может служить исчезновение из идеологического оборота одиозной фигуры Павлика Морозова. Разумеется, описанный процесс был обусловлен многими причинами, но какова бы ни была их относительная роль, не может быть сомнений, что советские интеллектуалы, поддержанные массовой интеллигенцией, явились в нем важной действующей силой.

Интеллектуалы в демократических и недемократических странах

Роль интеллектуалов как идеологов и защитников масс не одинакова в демократических и недемократических странах. В стране, где существуют демократические институты и общественное мнение, эта роль относительно невелика. Опросы и средства массовой информации, наравне с выборами, снижают социальную роль интеллектуалов, лишая их положения “избранных” выразителей массовых стремлений и чаяний.

В недемократических странах только интеллектуалы, и никто, кроме них, способны создавать общественное мнение, становящееся фактором социальной жизни, посредством выражения взглядов различных социальных групп и разработки проектов улучшения жизни народа. Именно такую роль сыграли советские интеллектуалы в 60-х годах.

Интеллектуалы всегда сознавали свою миссию глашатаев общественных настроений. В России они относились к этой задаче чрезвычайно серьезно. Можно без преувеличения сказать, что интеллектуалы выражают сам дух общества, его самопонимание и даже осознание им собственного существования. Обладание властью тоже вдохновляет людей на такую роль,

но политическая элита обычно занята сохранением этой власти и лишь в редких случаях искренне заботится об интересах большинства населения. Более того, элита зачастую просто не знает этих интересов и неспособна получить нужную информацию, а другие факторы толкают ее на путь самообмана и ложной интерпретации реальности.

В силу этого понятно, почему роль интеллектуалов в западных странах отлична от их роли в странах социализма. Лишенные положений гласатаев массовых настроений и свободные от преследований и репрессий, западные интеллектуалы не создали той специфической субкультуры, что их коллеги в социалистических странах. Поэтому и критика в адрес интеллектуалов не воспринимается здесь как проявление обскурантизма и реакционности или как попытка правящей элиты подавить социальный критицизм, каковой она несомненно была бы воспринята в СССР или в Польше. Более того, лишившись своей исторической миссии, западные интеллектуалы порой увлекаются такой активностью, которая выглядит сомнительной с точки зрения социальных интересов общества, интересов широких масс. Если интеллектуалы в восточных странах иногда не поднимают некоторые социальные проблемы, потому что вынуждены сосредоточиться на более фундаментальных вопросах или же боятся репрессий, то западные интеллектуалы зачастую занимаются именно второстепенными проблемами и склонны преувеличивать свое реальное значение в жизни общества.

Интеллектуалы в обществе без "свободной" интеллигенции

"Уникальность" интеллектуалов, конечно, относительна. В определенные исторические периоды она достигает максимума, и тогда их система ценностей мало перекрывается с системой ценностей других групп; в другие времена они в значительной мере теряют свою обособленность и сливаются с другими классами и группами, особенно с доминирующими.

Маннхейм правильно подчеркнул особую роль "свободной" интеллигенции, то есть тех интеллектуалов, которые не находятся на службе государства или бизнеса и потому лишь в минимальной степени испытывают давление социальных оков. При прочих равных условиях такие интеллектуалы более склонны к критике режима; интеллектуал, включенный в "систему", располагает меньшей свободой мышления и действий. Тем не менее, опыт СССР, Польши и Чехословакии показывает, что даже в этих условиях интеллектуальный этос оказывается достаточно сильным, чтобы сохраниться. Иными словами, каково бы ни было место интеллектуала в "системе", будь он даже сотрудником Академии Наук или консультантом ЦК, он остается потенциально предрасположенным к конфронтации с этой "системой", с властями. История России дает тому многочисленные примеры; в недавнем прошлом это было подтверждено выступлением чехословацких интеллектуалов против благожелательного к ним режима Новотного, в котором многие из них занимали привилегированные места.

Главные социальные ценности интеллектуалов

Будучи единственной группой, претендующей на защиту интересов боль-

шинства, интеллектуалы отстаивают почти все **позитивные** социальные ценности, главными среди которых являются демократия, равенство, рационализм, национализм, мир и религия.

Тем не менее всегда существовали интеллектуалы, которые, наряду с позитивными, подчеркивали также **негативные** ценности. Так, С. Чемберлен и Гобино защищали социальное и национальное неравенство, Э. Паунд и Т.С. Эллиот презирали демократию и были сторонниками аристократии, Ницше возвышал насилие, а Киплинг — войну.

Следует понимать, что каждая фундаментальная ценность является ядром целой системы других ценностей, тесно связанных с ней; так равенство связано со справедливостью, альтруизмом, демократией, политической свободой, терпимостью; рационализм — с образованием, наукой, планированием, прогрессом; религия — с семьей и традицией; автократия — с порядком и нетерпимостью. Отношения между ведущими ценностями необычайно сложны и порой даже конфликтны — достаточно указать, к примеру, на социальное равенство и национализм или рационализм и религию. Поэтому невозможно говорить о какой-либо общей "интеллектуальной идеологии", в которой все эти ценности были бы непротиворечиво связаны друг с другом. В некоторых случаях определенные ценности: демократия и равенство или религия и автократия — действительно образуют такую идеологию, но в целом интеллектуалов нельзя рассматривать как единую группу, которая под общими знаменами выступает против иерархической верхушки современного государства, как изображают некоторые авторы. Ориентация тех или иных интеллектуалов на те или иные ценности обусловлена социальной, политической и культурной спецификой их общества. В тоталитарных и демократических странах ключевой ценностью зачастую становится демократия, в капиталистических — социальное равенство, в угнетенных — равенство национальное. Интеллектуалы обращаются к религии и связанным с нею ценностям в те времена, когда социальный разлад достигает своего апогея и выживание нации кажется зависящим от ее морального обновления, возможного только на религиозной основе. Мир может оказаться главной ценностью в условиях серьезной угрозы международному миру. Соответственно этим ведущим ценностям можно легко разграничить основные интеллектуальные тенденции современного общества.

Социальная односторонность интеллектуалов

Не отрицая взаимосвязанности различных ценностей в идеологии интеллектуалов, следует все же сказать, что во многих случаях они концентрируются на какой-либо одной "ведущей" идее в ущерб многим остальным. В этом отношении показательно, как представители ведущих интеллектуальных тенденций в СССР после 1953 года, либералы и славянофилы, игнорировали вопрос о социальном равенстве. Первые включали его в проблему демократии, а вторые — в религию и традицию; ни те, ни другие не уделяли ему серьезного внимания в своих неофициальных публикациях. Разоблачая привилегии элиты, Сахаров и другие не призывали к равному уровню жизни или даже к устранению различий в уровне потребления разных групп, ограничиваясь лишь требованием ликвидации привилегий аппарата и элиты.

То же происходило в Чехословакии, где основными были требования демократии, политических свобод и справедливости; и даже в Польше призывы к демократии звучали по меньшей мере столь же сильно, как призывы к равенству (что, кстати, особенно обеспокоило советские и польские власти).

Обращение западных интеллектуалов к лозунгу социального равенства объясняет, почему многие из них так чувствительны к антикоммунизму. Неоконсерваторы, полагающие тоталитаризм главным злом в мире (фон Гайек, С. Хук и др.), выделяются на этом общем фоне, поскольку больше подчеркивают ценность демократии, чем социального равенства. Не отрицая, в общем, его значения (в этом сказывается их либеральное воспитание), они в то же время убеждены, что демократия и социальное равенство в каком-то смысле несовместимы и любая попытка их совместить ведет к тоталитаризму, который исключает и демократию, и равенство и порождает банкротство экономики. В своем упоре на демократию неоконсерваторы оказываются неожиданно очень близки к интеллектуалам социалистических стран — по крайней мере, к тем из них, которые ориентируются на Запад.

Особую группу образуют те западные интеллектуалы, которые тяготеют к социалистическим партиям и являются противниками как советской системы, так и американского образа жизни; они равно привержены и к демократии, и к идеалу социального равенства. Однако социал-демократическая позиция представляется нереалистической интеллектуалам, ориентирующимся на политические свободы или на экономическое и социальное равенство.

Ориентация интеллектуалов весьма зависит от конкретных исторических условий. Поэтому не следует критиковать тех на Западе, кто в годы депрессии и нацизма ориентировался на Советский Союз, Сталина и коммунизм; эти люди видели в социализме решение жгучих проблем современности и присоединялись к компартии не для личных выгод. То же самое можно сказать о восточноевропейских интеллектуалах, которые пошли за коммунизмом сразу после второй мировой войны.

Следует отметить также, что в годы депрессии еще не существовала организованная помощь безработным, и понятно, что интеллектуалы с их повышенным вниманием к социальным ценностям не могли не заинтересоваться страной, которая провозгласила своим долгом заботу обо всех сторонах жизни граждан. Не менее привлекательным для интеллектуалов с их повышенной рационалистичностью был принцип социалистического планирования и вовлечения всех интеллектуальных сил в построение нового общества.

Конечно, заигрывание западных интеллектуалов с идеями Мао Цзе-дуна или Кастро менее простительно, и его нельзя уже объяснить недостатком информации. Но напомним, что число поклонников новых коммунистических режимов было несравненно меньше, чем число почитателей Сталина в прошлом; и даже в этом случае нельзя отрицать благородные мотивы людей, которые, в отличие от многих своих соотечественников, были обеспокоены не материальными благами, а социальными последствиями потребительства и сохраняющимся неравенством.

Наряду с ведущими интеллектуальными тенденциями в каждый данный момент существует множество различных идеологических оттенков. Так, в нынешней России можно выделить либералов, озабоченных проблемами демократии; славянофилов, которые видят путь к спасению России в возрождении религии и традиции; националистов с окраин, тоже стремящихся к сохранению своих национальных традиций; неоленинистов, убежденных в примате идей социального равенства; и, наконец, технократов, ищущих решение советских проблем в научно-техническом развитии. В 60-е годы тон в обществе задавали либералы, но в следующее десятилетие политической реакции славянофилы стали успешно конкурировать с ними.

При всей сложности интеллектуальных тенденций существует критерий, позволяющий разделить их на два основных класса. Этот критерий — соотношение ведущих ценностей и прогресса. Такие ценности, как равенство, демократия, рационализм более тесно связаны с прогрессом, чем, скажем, религия или автократия; возможно, это является результатом того, что, начиная со средних веков, прогресс шел, в общем, в направлении роста равенства, демократии и рационализма в социальной жизни.

В то же время сторонники “негативных” ценностей и религии более часто заинтересованы в сохранении статус-кво и даже в возвращении в прошлое. Поэтому интеллектуалы, ориентирующиеся на равенство, демократию и рационализм, всегда составляют ядро так называемых либералов, социал-демократов, социалистов, западников и так далее, тогда как сторонники других ценностей обычно являются консерваторами. Разумеется, это деление весьма приближенное: достаточно вспомнить т.н. французских консервативных романтиков, вроде Руссо, или русских славянофилов XIX века, которые восхваляли прошлое лишь потому, что видели в нем наилучшее воплощение своих идеалов демократии и равенства. Аналогичные элементы могут быть обнаружены почти во всех консервативных движениях. С другой стороны, в них можно обнаружить и таких радикалов, чье стремление к переменам не уступает “прогрессизму” радикалов слева. Тем не менее, в целом, деление на либералов и консерваторов является полезным и признается всеми.

Различное отношение либералов и консерваторов к изменениям определяет их различное отношение к власти, которая, как правило, стремится к сохранению статус-кво: либералы обычно оказываются в конфликте с властью, тогда как консерваторы нередко пользуются ее поддержкой. Но здесь я хотел бы повторить один из важнейших постулатов данной статьи: конфликт между массами и властью является постоянной составляющей ежедневной политической жизни, и потому вопрос о выражении интересов масс всегда остается актуальным. В демократическом обществе эти интересы частично выражаются через общественные институты, тогда как в недемократическом обществе только интеллектуалы могут выполнять эту роль — хорошо ли, плохо, но только они. Благодаря этой своей особой роли, ставящей их в конфронтацию с властями, интеллектуалы, как правило, больше тяготеют к либеральным, чем к консервативным ценностям. Такая массовая склонность к идеям демократии и равенства была весьма характерна для интеллектуалов дореволюционной России; радикалы были в моде в

интеллектуальных кругах, и люди, которые им не симпатизировали, вынуждены были это скрывать. Представляется, что и в целом либеральная тенденция выражена среди интеллектуалов сильнее, чем консервативная.

Утверждая, что идеальный интеллектуал — это поклонник либерализма или даже левой идеологии, я не хочу этим преуменьшить важность консервативной тенденции, основанной на таких ценностях, как естественное, национальное и социальное неравенство, сила, моральный ригоризм, монархия, религия, иерархия и т.д. Эти ценности обычно складываются в идеологию, которая романтизирует прошлое. Можно вспомнить, что консервативная тенденция, в особенности ее романтический вариант, впитавший определенные элементы либерализма, дала таких значительных представителей, как Шатобриан, Киреевские, Торо и Гоббс. Более того, бывают времена, когда эта тенденция может привлечь довольно заметное число интеллектуалов, как это было в Веймарской республике, в Иране после шаха или в СССР в 70–80-е годы; но в этом случае многие интеллектуалы устремляются в консервативный лагерь из соображений безопасности и карьеры.

Кроме либералов и консерваторов существуют еще, так сказать, "официальные интеллектуалы", защитники существующего режима. Эта группа менее стабильна, чем первые две, потому что ее представители со временем отходят к либералам или консерваторам. Более того, даже оставаясь в аппарате, они склонны к умеренному либерализму или консерватизму, потому что не придают особого значения официальной идеологии. Такие интеллектуалы, как правило, циники, и многие из них вообще не верят, что мир можно изменить, поскольку человек всегда останется ленивым и жадным животным.

Заключение

Интеллектуалы ни в коем случае не ангелы, они подвержены всем гедонистическим соблазнам, и 70-е годы в России показали, что режим вполне успешно может подкупить или принудить их к сотрудничеству.

Тем не менее интеллектуалы остаются единственной социальной группой в любом обществе, особенно в социалистическом, которая даже в самых трудных условиях последовательно защищает интересы других.

Только интеллектуалы являются источником постоянной оппозиции к всемогущему социалистическому государству и ведущей силой во всех попытках его демократизации.

*Когда Адам пахал, а Ева пряла,
кто писал диссертации?*

В первом очерке я высказал такую мысль: широко распространенное мнение следовало бы не повторять, а интерпретировать. Во всяком случае, это надлежит делать тем, кто сам полагает, что интерпретирует действительность. В особенности, если это социологическая интерпретация.

Все люди социологи. В роли социологов они что-то думают и говорят о себе. Это — их социологический фольклор. Тот же, кто пишет о людях, не должен бы выдавать этот фольклор за свой комментарий.

Статья В. Шляпентоха, о которой пойдет речь, озаглавлена: "Интеллектуалы как носители специфических ценностей: там и здесь". Она опубликована на английском языке в журнале "Ра-ша", который знакомит англоязычного потребителя с лучшими образцами русскоязычной мысли. Шляпентох выделяет в обществе особую социальную группу "интеллектуалов" и характеризует ее особую культуру, а также оценивает роль интеллектуалов в обществе и их миссию в возможном историческом процессе.

Эта статья — сгусток фольклорных истин. Как и в предыдущих очерках, я не буду оспаривать эти истины. Я лишь попы-

О. Кустарев

**СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ
ФОЛЬКЛОР СОВЕТСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Очерк третий.

таюся продемонстрировать их фольклорность. Фольклорный характер статьи легче всего увидеть, посмотрев, как автор толкует материалы опроса.

Опрашивались народ в целом и интеллигенция. Их прямо спросили: что они ценят?

Оказалось, что "интересную работу" ценят 70% народа в целом, но 90% "научной интеллигенции". "Творчество" ценят 33% людей вообще, но у интеллигенции от естественных наук этот процент подсакивает до 67, а у гуманитариев аж до неба — 85!

С другой стороны, материальное благополучие ценят 54% народа в целом, но у натуралистов-интеллигенции уже только 43%, а гуманитарии и тут, черти полосатые, раньше всех поспели: почти святые — жалких 38%.

Все эти проценты, будучи сопоставлены друг с другом, вызывают миллион недоумений и вопросов. Но сейчас важно отметить лишь, что Шляпентох все эти проценты берет, как есть. Иными словами: гуманитарии говорят, что безразличны к материальному благополучию, и Шляпентох повторяет вслед за ними — безразличны. Нет, чтобы проверить.

Можно ли так поступать? Шляпентох подхватывает сказанное теми, кого он опрашивал, даже не пытаясь обнаружить действительное социальное значение их ответов. Вместо этого он обобщает эти ответы, рассматривая их как свидетельство альтруизма интеллигенции. И опять он проявляет замечательное легкомыслие.

В самом деле, почему любовь к творчеству — свидетельство альтруизма? Разве что потому, что оба свойства представляются Шляпентоху "почетными", а, стало быть, должны быть как-то друг с другом связаны? На самом деле, все куда сложнее, и как бы даже наоборот. Биографии многих творцов как будто говорят об обратном. А иные творцы даже похвалялись своим эгоизмом.

Почему, напротив, любовь к материальному благополучию (точнее: к соблюдению своих интересов) не сочетается с альтруизмом, тоже не ясно. Влиятельнейшая школа (от Адама Смита) как раз утверждает обратное. Может быть, эта школа не права. Но это наверняка не известно и игнорировать ее точку зрения нельзя — все-таки теперь не эпоха патристики. Но главное это то, что со времен теоремы "разумного эгоизма" обнаружена глубокая внутренняя парадоксальность самого понятия "альтруизм" и теперь просто невозможно с чистой совестью приписать каким бы то ни было группам людей свойство "альтруизма" и свойство "эгоизма".

Конечно, среди людей есть крайние альтруисты и крайние эгоисты, но утверждение, что одним социальным группам альтруизм свойствен больше, чем другим, опрометчиво.

* * *

Теперь обратимся к самому объекту наблюдений Шляпентоха: к интеллигенции и интеллектуалам. На время про статью Шляпентоха забудем.

Шляпентох никак не определяет, кто интеллигенция. Из того, что он пишет вокруг да около, как будто следует, что интеллигенция — это те, кто не занят классическим фабричным трудом. В общем, это близко к представлениям советской статистики. А советская статистика называет интеллигенцией тех, кто на Западе именуется "средние слои".

Почему в советской культурно-политической терминологии избегают понятия "средние слои" и так предпочитают понятие "интеллигенция"? Я не буду сейчас рассматривать, почему это делают статистика и официальное обществоведение. Меня гораздо больше теперь интересует, почему это слово предпочитают сами средние слои.

А средние слои не просто предпочитают называться интеллигенцией. Они много **переживают** по поводу этого названия. Представителя средних слоев беспокоит, что слово "интеллигенция" приклеено **ко всем и к каждому** представителю средних слоев.

Тот, кто считает себя интеллигентом, ревнует всех остальных, кто делает то же самое. Он не считает интеллигентами всех тех, кто считает себя интеллигентами.

Эта идиотская (глядя со стороны) ситуация вполне осмыслена и имеет глубокие исторические корни.

В русском обществе термин "интеллигенция" имеет очень сильный оценочный смысл. "Интеллигент" фактически — нелегальный сословный определитель, аналогичный термину "джентльмен" в английском обществе.

В сословном обществе оба эти понятия помогали компенсировать сословную ущемленность тех, кто формально принадлежал к малопrestижным сословиям, но усвоил или хотя бы был знаком с культурой верхнего слоя. В обществе, где нет легальных сословий, эти понятия участвуют в процессе кристаллизации новых сословий.

Тенденция к кристаллизации сословий имеет место во всех из-

вестных нам обществах, включая существующие ныне. Свойственна она и советскому обществу, коль скоро это общество. Здесь она происходит на фоне некоторых конкретных процессов.

В советском обществе растет абсолютно и относительно число тех, кто согласно статистической традиции именуется "интеллигенцией". Границы "интеллигенции" размываются, а статусный вес "интеллигентности" возрастает, хотя, разумеется, в то же время и оспаривается все более ожесточенно.

В этих условиях озабоченность проблемой "интеллигентности" усиливается. В советском обществе разговоры о том, кто на самом деле "интеллигент" идут, не прекращаясь. Эта проблема оказывается в сущности бытовой психологической проблемой. Теория этой проблемы развивается по **двум** направлениям. Но сперва — и логически, и исторически — все теоретизирование совершается в одном коконе.

На первой стадии главным теоретическим приобретением народной мысли оказывается понятие "настоящая интеллигенция".

Потребность в этом усложненном понятии возникает потому, что само "звание" "интеллигенция" кажется скомпрометированным. Возникает потребность как-то заклеить всех тех, кто претендует на "звание" или носит его "не по праву". Государственная статистика относит к интеллигенции всех тех, кто трудится не с помощью серпа и молота. Она, таким образом, дает право на "звание" соответственно участию человека **в сфере производства**.

Возникает естественное побуждение перенести критерии **в сферу потребления**. Вот тут появляются такие понятия как "культурные потребности" или "нематериальные потребности". Никто не задумывается, имеют ли эти выражения однозначный и рациональный смысл. Зачем задумываться? Ведь их символическое значение совершенно очевидно. Автоматически предполагается, что "культурные" и "нематериальные" потребности — **выше классом**, чем "материальные".

Но в советском обществе перенос престижных критериев в сферу потребления дает очень слабый эффект. Потребление всех слоев населения скудно и однообразно. В то же время рабочие, которые и официально именуется рабочими, культурно растут. Государство их к этому поощряет, да и сами они хотят иметь сегодня больше, чем вчера.

Все это лишь усугубляет проблему, усиливает психологическую

напряженность в средних слоях и толкает их к поискам новых способов выделиться.

Вспоминают, что “культурная” ценность “культурной” ценности рознь. Приходит к выводу, что для того, чтобы быть “интеллектуалом”, надо быть не просто культурным, но **особым образом культурным**. Тут возникает культурный набор, который иронизирующие критики (с очень точным чутьем на аналогии) уже окрестили “джентльменским набором”*. Этот джентльменский, интеллигентский набор объявляется **подлинной** культурой. Чтобы быть “интеллектуалом”, вам надлежит читать Достоевского и Апдайка, Элиота и Бродского, а не Глеба Успенского и Луи Арагона, Маяковского или Евтушенко (Бенедиктова).

Этот принцип распространяется на весь мир идей, и по этому принципу не только заставляются книжные полки, но и лепится личная идеология. Я не собираюсь сейчас обсуждать ни литературные вкусы, ни идеологию “настоящей интеллигенции”. Меня сейчас интересует только сам факт: попытка определить социальную группу и ее **качество через содержание ее умственного досуга**.

Что правда, то правда: у каждого сословия и прото-сословия свои литературные вкусы. Но кристаллизовать сословие на базе одних только литературных вкусов не легко. Путь, по которому пошла советская интеллигенция, дал результаты на очень короткое время, и они оказались иллюзорными.

Дело в том, что культтовары, в особенности существующие в чисто языковой форме — вкусы, интеллектуальные и идеологические слухи, слова, выражения, эпитетные клише — в отличие от материальных ценностей быстрее **разносятся**. Будучи, как правило, чистыми символами, они легко переходят из рук в руки.

Себестоимость переноса бестелесных благ от одного обладателя к другому ниже, чем себестоимость передачи из рук в руки реальных благ, особенно недвижимости.

Воровство бестелесных благ технически трудно установимо и, так же технически, трудно наказуемо.

Эти факторы не имели бы существенного значения, если бы владельцы бестелесных благ хранили в тайне свое достояние. Но как

* Джентльменский набор 20-х годов воспроизведен в работе З. Бар-Селлы и М. Каганской “Мастер Гамбс”, хотя они, вероятно, думают, что сделали что-то другое. На подлинный смысл их изысканий обращает внимание в своей остроумной статье И. Косинский (“Континент”, №44).

раз этого не происходит. Они шумно свое достояние демонстрируют.

Они не могут не демонстрировать. В отличие от жемчугов и мекки, которые говорят сами за себя, символические, бестелесные блага говорят лишь устами их носителя. Поклонники Цветаевой, Мандельштама или Рудольфа Штейнера, к примеру, должны всем сообщать, чьи они поклонники, иначе их особая стать не будет замечена. Кстати, с этим связан оголтелый публикационный фетишизм советской интеллигенции: он лежит в основе ее маниакальной любви к свободе слова, но на эту тему я не буду теперь распространяться.

Теперь нам важно лишь заметить, что при таких условиях сохранить монополию на специфический литературный вкус нелегко, тем более поддержать его престиж. Чтобы "остаться наверху", джентльменский набор надо постоянно обновлять. А это противоречит самой идее сословной идентификации: она требует культурной стабильности, консервации.

Тем не менее в советских условиях в конце 50-х годов сложились своеобразные условия, в которых это оказалось на какое-то время возможным. Удобная ситуация возникла после "реабилитации", потому что тогда началось повторное введение в оборот "запрещенной" части культурного наследия. Рынок культтоваров явственно разделился на два (что было исключительной редкостью для индустриального общества, в котором рынок, в принципе — континуум, то есть иерархия товаров, каждый из которых отличается от соседнего на бесконечно малую величину).

По вполне понятным причинам репутация "бывшего" и "запрещенного" оказалась намного выше, чем репутация официально канонизированного культурного наследия, и на какое-то время раскол общества по литературным вкусам стал так заметен, что использовать его для качественного разделения общества казалось соблазнительно естественным.

Но эта золотая пора все же кончилась. В сфере культурного потребления воцарился **нормальный континуум**, то есть полная неразбериха; читателю стало совершенно неясно, что сегодня "нужно" читать, выбор на рынке идеологий оказался намного более разнообразным, "длительность жизни" престижных знаков резко сократилась, изолированные салоны стали подозревать о существовании друг друга, началась между ними борьба, и установившаяся было система критериев разрушилась, хотя не все это пока заметили.

Но авангард, на то он и авангард, заметил. И попытки отделить интеллигенцию от быдла, или более утонченные попытки — “настоящую интеллигенцию” от “ненастоящей” — перемещаются мало-помалу из сферы джентльменского потребительского набора в сферу морального атрибутирования.

И вот тут теоретические усилия разделяются, хотя не сразу и не вполне осознанно, на два потока.

В **одном** потоке усилия направляются на разработку **нормативного** образа интеллигента. Понятие интеллигент, как обобщение всего нормативно лучшего, сохраняет власть и тут. Теоретики этого плана настаивают, что “настоящий интеллигент” **должен** обладать некоторыми свойствами. Эти теоретики — моралисты.

Они выступают в сущности с проповедью, с **проектом кодекса**. Логически развиваясь, этот призыв должен со временем привести к проекту особой секты, ордена или “партии нового типа”.

По идее самих вдохновителей сюда будут определяться те, кто по **внутреннему влечению** согласен придерживаться оговоренного кодекса. Но их готовности недостаточно; они должны будут пройти некое испытание. В этом испытании их профессия, род занятий на досуге и, тем более, их джентльменский набор не имеют **формального** значения. Моралисты часто даже специально подчеркивают это. Оно и понятно: ведь их проект — отчасти реакция на износ **договоренных в быту** критериев интеллигентности.

Во **втором** потоке усилия направляются по другому направлению. В этом потоке теоретики **сначала** называют группу людей, а потом приписывают этой группе некоторые свойства. Плохие или хорошие, согласно собственным представлениям о том, какие свойства “хорошие” и какие “плохие”.

Они в сущности уступают стихийному соблазну проделать с массой людей следующее: разделить на части, сравнить и приписать **разное качество**.

При этом они заимствуют у проектантов-моралистов сконструированный ими идеал и выдают его за свойство группы, “назначенной” ими по какому-то иному критерию.

* * *

Именно это делают “**опрашиваемые**” Шляпентоха. Будучи сами себе социологами, они характеризуют сами себя, приписывая себе те свойства, которые моралисты считают желательными для интел-

лигенции. А те "опрашиваемые", кто встал или поставлен в позу "опрашивающих", дают самозванству опрашиваемых своего рода паспорт: дескать, смотрите сами, опрос показал, что...

В общем, вся эта суетливая внутриинтеллигентская активность должна бы свестись к тому, что в русском языке слово "интеллигенция" наконец-то выйдет из употребления. Но Шляпентох не решается назвать средние слои советского общества средними слоями. Магическая сила слова "интеллигенция" завораживает его научное сознание.

Он позволяет советской интеллигенции называться интеллигенцией. Но он дезавуирует ее как культурно-социальный тип. Он делает это, выделяя внутри нее очередной вариант "настоящей интеллигенции".

Он делит интеллигенцию на два разряда: "массовую интеллигенцию" и "интеллектуалов". Вот что он пишет: "Интеллектуалы — меньшинство интеллигенции, занятое творческим трудом..., тогда как массовая интеллигенция занята в основном выполнением рутинных функций".

Существование в природе этих двух разновидностей человек кажется Шляпентоху очевидным. Он не затрудняет себя никакой схоластикой и пытается внушить нам свои представления, просто-напросто взывая к нашим "здравым чувствам". Шляпентох пишет далее совершенно поразительный пассаж: "Граница между интеллектуалами и массовой интеллигенцией, разумеется, неопределенная. Однако если мы возьмем крайние группы, например, такого ученого, как Эйнштейн, и такого писателя, как Фолкнер, с одной стороны, и дантистов и инженеров, с другой стороны, мы получим представление о различиях между людьми с университетскими дипломами".

По поводу этого пассажа можно было бы написать сто страниц язвительных замечаний, но не будем злословить, а перейдем сразу к делу.

Прежде всего, провести границу между двумя разрядами "белых воротничков", как справедливо заметил и сам Шляпентох, очень не просто. Но в отличие от него я не думаю, что это проблема техническая и возможные ошибки подпадают под категорию обычной погрешности измерений. — Мои сомнения носят совершенно принципиальный характер.

Во-первых, сравнительно легко могут быть разделены на "творческие" и "рутинные" единичные трудовые операции. Но деятель-

ность личности, ее регулярный труд, а тем более ее деятельность во всех социальных ролях, которые она исполняет (легально и нелегально), не поддается классификационным трюкам с помощью понятия "творчество" и "рутина".

А в плане **социологии** как раз речь идет не о классификации трудовых операций, а о **сортировке людей** по роду их деятельности.

Возможна ли объективная сортировка по предложенному Шляпентохом принципу? Нет, невозможна. Все сортировки подобного рода субъективны, поскольку все они делаются людьми, помещающими себя самих в один из разрядов.

Тут мы сталкиваемся с "проблемой наблюдателя", столь хорошо знакомой всей современной науке. Если эта проблема актуальна для физики и биологии, легко вообразить, какое колоссальное значение она имеет в социальных науках.

В социальных науках она имеет два аспекта. Во-первых, это проблема профессионального наблюдателя, который должен очищать свои суждения о фактах от aberrаций идеологического происхождения. Теперь это уже до некоторой степени техническая проблема, хотя иной раз очень заковыристая.

Во-вторых, это проблема наблюдаемого, который, кроме того, что он наблюдаемый, еще и наблюдатель, и более того, объект, сознательно внушающий наблюдателю представление о себе. Социальные науки толкуют о существах, которые не просто бытуют, но и осмысляют свой быт и самих себя. Любая **не-статистическая** классификация людей есть скрытая самооценка и, собственно, **ради самооценки и делается.**

Как же это происходит? Очень просто: если человек оценивает разные свойства людей, как хорошие и плохие, то он приписывает себе хорошие, а другим плохие. Наоборот поступает только сумасшедший или романтик сатанистского толка, каковых мало.

* * *

Шляпентох вертится в заколдованном кругу. Разделяя с интеллигенцией (или интеллектуалами) ее самооценку, он разделяет с ней и все ее страдания по поводу понятия "интеллигенция". Чтобы решить свою психологическую проблему и показать, кто он такой, он и выделяет внутри интеллигенции группу "интеллектуалов". К ней он, конечно, относит самого себя. Ведь не придумал же он эту **социальную группу** (почти сословие!), чтобы самому записаться в массовую интеллигенцию.

Затем Шляпентох назначает интеллектуалов носителями специфических ценностей. Что он хочет этим сказать? Отвлечемся пока от "ценностей". Интерес для нас теперь представляет слово "носители".

В принципе это слово означает, что между некоторой группой и некоторыми свойствами существует некоторая связь. Какая именно связь?

Когда мы пишем $x=f(y)$, мы устанавливаем факт связи. Ни один физик или математик на этом не остановится. Его основные усилия употребляются на то, чтобы конкретизировать эту связь. Почему же социальные философы, в особенности фольклор-философы, останавливаются как раз на этом месте?

Вернее было бы сказать, что они слишком легко решают вопрос о конкретном значении слова "носитель". Они придают ему тот смысл, который им хочется. Они забывают рассмотреть массу других значений слова "носитель" и обсудить возможность того, что связь между группой людей и свойствами может иметь вовсе не ту физику, в данном случае не тот социальный смысл, который им хочется.

Между тем, связь между группой и ценностью может быть разной: (а) она ее исповедует; (б) она ее проводит в жизнь; (в) она ее проповедует; (г) она проводит ее на практике; (д) она заставляет других ее исповедовать; (е) она приписывает ее себе... (я)....

Вернемся к опросу, который мы упоминали вначале. Интеллигенция приписала себе некоторые свойства, утверждая, что у нее есть такие-то предпочтения. Материалы опроса устанавливают факт связи. Но каков социальный смысл этих связей, неизвестно. Его надо выяснять. Шляпентох кончает там, где следовало бы начать.

* * *

В формуле "интеллектуалы-носители ценностей" не ясно ничего. Неясно, какого рода зависимость скрывается за словом "носители". Неясно, каково направление связи. С одной стороны, интеллектуалы выражают определенные взгляды. С другой стороны, они записываются в интеллектуалы на основании тех взглядов, которые они себе приписывают. Но сверх того, не ясно, что такое "ценности".

"Специфическое свойство интеллектуалов как социальной группы не только в том, что они заинтересованы в ценностях, решаю-

щих для их творческой деятельности, но в том — и это фундаментально — что они придают большое значение ценностям для других (values to others). Ни одна социальная группа не подвержена так сильно влиянию ценностей, отражающих интересы всего общества”, — так пишет Шляпентох.

При чтении этой декларации мы спотыкаемся на каждом шагу. Соблазн “исправить” эту декларацию возникает буквально на каждом слове. Я однако избегаю этого соблазна и просто констатирую, что подобное определение абсолютно неприемлемо и выглядит комично.

Итак, какие именно ценности имеет в виду Шляпентох и стоящие за ним интеллектуалы? Они фигурируют в статье в разных комбинациях.

Это, как и следовало ожидать, “нематериальные ценности, такие, как демократия, религия, национализм, социализм”. Они же в другом месте называются “универсальными”, “сверхнациональными”. Еще в одном месте фигурирует понятие “положительные” ценности, причем Шляпентох почему-то употребляет английское слово “affirmative”, которое в данном контексте звучит крайне загадочно.

Обращение Шляпентоха с понятием “ценности” поражает своей безмятежной стихийностью. Он берет это понятие из бытового языка и оперирует им совершенно произвольным и обыденным образом. О том, как он понимает “ценности”, можно судить лишь косвенно, на основе стилистического анализа и анализа некоторых утверждений.

Среди этих утверждений, пожалуй, наиболее информативно одно. Сопоставляя интеллектуалов в советском и западном обществах, Шляпентох замечает, что для советских интеллектуалов главная ценность — демократия, а для западных — равенство, и это потому, что в советском обществе нет демократии, а в западном — равенства.

Но дело в том, что с точки зрения культуроведения, ценности в данной культуре это не то, чего в обществе нет, а то, что в нем есть: общество стоит на своих ценностях. Если бы это было не так, демократии на Западе не было бы, а она как будто есть: так ведь нам кажется? Почему Шляпентох этого не чувствует?

Потому что для него “ценность” это то, чего очень хочется и что трудно достать. Иначе говоря, “редкое благо”. Ну что ж, вообще говоря, “ценность” так понимать можно — это экономическое понимание. За его пределы Шляпентох и не выходит.

Вот как выглядит у Шляпентоха список желанных товаров: демократия, равенство, социализм, религия, национализм, рациональность, мир, семья, творчество, спокойная жизнь, чистая совесть, плюрализм, разнообразие, динамичность общества... ленты, кружево, ботинки.

Для экономического сознания этот список представляется вполне однородным. В самом деле, все "товары" прежде всего "товары" и в этом качестве — однородная субстанция. "Товары" различаются лишь дефицитностью и ценой — больше ничем. Кто смотрит на "вещи", как на товары, не может уловить принципиальной разницы между "вещами". Не сможет он и понять, что "ценность" "ценности" рознь. И что у каждой "ценности", так сказать, разная логика включения в культуру.

Ценности никогда не бывают только ценностями. Они могут быть желательными **свойствами**. Они могут быть **целями, интересами**. Цели и интересы, как и желательные свойства, делятся на скрытые и демонстрируемые, осознанные и неосознанные.

Кроме того, ценности это не лоток с товарами — таковы они все вместе лишь для обыденного сознания. На самом же деле они — система. Эта система состоит из ядра, производных этого ядра, затем производных второго порядка и так далее. Между прочим, как раз в ядре системы ценностей находятся такие, которые люди плохо осознают или забывают, а они-то и есть самые устойчивые.

Ценности — это, конечно, предпочтения, но выяснение списка предпочтений — лишь первый шаг к выяснению системы ценностей.

Все это, однако, видимо не волнует Шляпентоха. Дело не в том, что он не пишет обо всем этом: он не обязан об этом писать. Но он, я думаю, должен был все это иметь в виду, а если он не имел этого в виду, так и незачем было писать все, что он написал про интеллектуалов. Безо всего этого, написанное им выглядит **поразительно неинтересно**.

Среди "ценностей", которые перечисляет Шляпентох, фигурируют такие, которые позволяют обнаружить еще одну сторону его подхода к интеллигенции и ее культуре. Это — "национализм", "социализм", "религия".

Допустим, что все это может быть названо ценностями. Но посмотрим сперва, что это такое помимо того, что кто-то вообразил себе, будто это его ценности.

Национализм — это род проектной идеологии, совокупность нормативных идей, **за которыми** стоит определенная система цен-

ностей. Об этих ценностях в статье Шляпентоха — ни слова. Сам же по себе национализм — не ценность; он может быть оценен. Зачем его оценивать?

Как вообще оценивается идеология? Приобщение к некоторой идеологии — психологический процесс. Люди исповедуют то, что им доставляет удовольствие исповедовать. Присваивая те или иные взгляды, они получают, так сказать, “психологическую прибыль” в виде положительной эмоции. Если они положительной эмоции не испытывают, когда говорят про себя “я социалист”, например, они ищут что-нибудь другое и говорят в уме, например, “я националист”, или “я интеллеktуал”, или “я святой”, или еще что-нибудь в этом роде.

Этот механизм выбора идеологии становится единственным в обществах, где люди не имеют определенных материальных интересов или их не понимают, думая, что их нет.

Такова психологическая правда “идеологического греха”. Но это не вся правда. Потому что в принципе психологическая удовлетворенность от приобщения к тем или иным взглядам все же имеет материальные или лучше сказать “интересантские” корни.

Этих корней два. Во-первых, материальные интересы обычного типа: собственность, положение в иерархии власти, надежный источник зарплаты. На эту тему много написано.

Во-вторых, любая вещь — мебель, авторский текст, важное знакомство, тело, душа, идеология — приобретают экономическую ценность, если и когда идут на продажу, становятся товаром.

Несколько раньше мы говорили, что Шляпентох понимает ценности как покупатель. Сейчас мы можем добавить, что он понимает их как продавец.

И религия, и национализм, и социализм, и капиталистическая идеология циркулируют на ярмарке культурных и политических товаров. И интеллигенция безусловно носитель этих идеологий в том смысле, что она ими торгует. Она и оценивает их в зависимости от того, насколько успешно они продаются.

Это в сущности значит, что “ценности” тоже могут оцениваться. В строгом культурологическом смысле ценности — это масштаб, определяющий отношение людей к вещам. Но как только ценность сама становится вещью, она оказывается подлежащей сравнительной оценке, и “гомо экономикус” тут же назначает ей цену.

Вся статья Шляпентоха вовсе не о “ценностях” интеллигенции, а

о том, как они **оценивают ценности**, как они к ценностям **прицениваются**.

Это очевидно. Шляпентох пишет: “Интеллектуалы приписывают гораздо большее значение культурным ценностям, чем другие люди. Эстетическими ценностями, наряду с другими проявлениями духа, интеллектуалы восхищаются наиболее”.

Культурная ценность — десять рублей! Десять рублей раз! Десять рублей два! Десять рублей три! Продано!

* * *

Итак, Шляпентох выделяет в массе населения особую группу интеллектуалов и приписывает ей особую субкультуру. Как я пытался показать, выделение этой группы по признаку “творческий труд” в высшей степени сомнительно и легкомысленно. Еще более легкомысленно выглядит анализ субкультуры этой предполагаемой группы, поскольку он покоится на чрезвычайно обыденном представлении о категории “ценность” и сводится к тому, что за теми, кто называет себя интеллектуалами, признаются те свойства, на которые они претендуют и которые они сами тщатся открыто сформулировать.

Зачем было строить такую легкомысленную концепцию? Оказывается, что эта концепция играет лишь вспомогательную роль и подпирает фактически партийно-политическую декларацию хорошо знакомого нам стиля.

Шляпентох пишет: “Интеллектуальная община — глас народный. Она выдвигает людей, говорящих от имени народа”. Исключения, добавляет Шляпентох, очень редки. Ну, там, Лех Валенса.

Еще цитата: “Только интеллектуалы могут выразить мысли и чувства простых людей”.

И еще: “Историческая миссия пролетариата как сознательного освободителя человечества — миф, а то, что интеллигенция — **почти** единственный защитник униженных и оскорбленных — **очень близко** к правде”^{*}.

* Я подчеркнул, казалось бы, невинные слова “почти” и “очень близко”, потому что они изумительно характерны стилистически. Эти слова — оговорочные. Шляпентох, по-видимому, сам испугался того, что написал, но вместо того, чтобы задуматься, пошел на уступки тем, кто, как он подозревал, будет этой декларацией шокирован. Он сделал политическую уступку возможным политическим оппонентам. Вместе с тем это уступка позитивизму, наивная

Поразительное свойство всех этих высказываний заключается в том, что все они (кроме последнего!) кажутся соответствующими действительности. Почему же, читая это, мы испытываем чувство мучительной неловкости?

В самом деле, в разговорах о том, что нужно народу и обществу, чаще всего звучат голоса интеллектуалов. Это факт, но он не равен сам себе. Он должен иметь какой-то неочевидный смысл. По Шляпентоху, смысл этого факта в том, что интеллектуалы — это одна среди других социальных групп, которая лучше всех остальных социальных групп понимает интересы всего общества и больше всех социальных групп уважает интересы всего общества и каждой социальной группы в нем.

Вот это уже вовсе не очевидно, и на поверку — чистое недоразумение так думать.

Начать с того, что во многих обществах, если не во всех, те, кто официально именуется интеллектуалами, имеют привилегию на громогласность. Они также имеют традиционную привилегию на то, что их высказывания идут, так сказать, в "летописный зачет"; за ними признается статус имеющих место. Простой же народ либо не имеет права говорить, либо то, что он говорит, не учитывается как сказанное, поскольку — автоматически — неавторитетно. Либо простые люди, сумевшие что-то членораздельно выговорить, "переопределяются" и получают статус интеллектуалов*.

В другом аспекте — тех, кто занят размышлениями об обществе и выдвигает проекты общественного устройства, тех, кто формулирует ценности, цели и выясняет интересы общества, мы и называем интеллектуалами. Они прежде всего — профессионально-функциональная группа.

Короче говоря, те, кто разрабатывает и кодифицирует культуру, и есть интеллектуалы. Шляпентох делает очень типичную для фольклорного сознания оплошность: он путает субъект с предикатом. Если бы ему не хотелось так неодолимо подчеркнуть статусные достоинства интеллектуалов, для чего, конечно, было необходимо рассматривать их как социальную группу, то он обратил бы внима-

попытка сделать декларацию более, что ли, объективной. Но политическая декларация не нуждается в объективировании, а научная объективность не достигается так дешево.

* Профессиональные интеллектуалы делают это, однако, неохотно. Вот и для Шляпентоха легче назвать Валенсу "исключением из простых", чем интеллектуалом.

ние на то, что интеллектуалы — функциональная группа. И тогда он не впал бы в оплошность, превратившую его рассуждения в нечто совершенно особенное — **неверную тривиальность**.

Чтобы оживить эту несколько сухую ситуацию, приведу пример аналогичной ошибки, на который указывает литературовед Лидия Гинзбург.

Читателям в свое время, как известно, очень понравился роман Гете “Вертер”. Но многие были разочарованы тем, что герой в конце романа застрелился. Они упрекали Гете и спрашивали: так ли уж это было нужно? Лидия Гинзбург замечает, что эти упреки были неосновательны. Бесмысленно было даже ставить этот вопрос: **Вертер и есть тот, кто застрелился**.

Если мы примем все это во внимание, то окажется, что культура интеллектуалов может быть какой угодно и на самом деле в историческом плане была крайне разнообразной. Как функциональная группа, они были носителями культуры своих обществ и выразителями, а главное, **обоснователями** интересов тех групп, сословий или классов, которые господствовали.

Все эти сомнения касаются понятия “культуры интеллектуалов” вообще. Если же говорить конкретно о советских интеллектуалах, то их культура и интересы представляют собой проблему, если не сказать загадку. Эту загадку невозможно решить, если определить их как социальную группу, состоящую из эйнштейнов, если верить тому, что интеллигенция говорит о себе сама, если не различать “ценности”, “цели” и “интересы”, если не чувствовать, что ценности и интересы бывают тайные, явные и декларируемые, осознанные и неосознанные.

В особенности, если настаивать на том, что интеллигенция рас-слоена **вертикально** — по качеству, а не **горизонтально** — по профессиям, по функциям в служебном аппарате, по социальной (включая классовую) принадлежности, наконец, по идеологиям, которые в данном случае надо понимать не как надстройку, а как “интеллектуальный” или “культурный” капитал, короче, увы, как это ни покажется скучно, **по материальной базе существования**.

Иерархическая классификация интеллигенции Шляпентоха — это просто снобизм. Его снобизм достигает гомерических масштабов, когда Шляпентох пишет следующее: “Процесс секуляризации сопровождался у не-интеллектуалов цинизмом, моральным вырождением, пьянством, тогда как интеллектуалы реагировали на это иначе: они вырабатывали новые нематериальные ценности”. Так

сказать, пока рабочий класс спивался, интеллектуалы занимались вещами куда более спиритуальными, чем сам спирт.

Потребление алкоголя на душу населения в пролетарской среде как будто (допустим!) выше, чем в среде эйнштейнов-фолкнеров (надо думать, что за счет эйнштейнов — фолкнеры вряд ли и сами будут настаивать, что в рот не берут). Но когда это банальное (если верно!) житейское наблюдение приобретает вид философско-социологической сентенции, становится неловко за интеллектуалов, которые думали, думали и до чего же додумались?

Результат их гносеологических подвигов вот он. Они обнаружили, что они, интеллектуалы — “глас народный” и что их миссия “спасти народ и общество”, потому что они “стремятся к истине” и “знают ее”, потому что они “альтруисты” и “жаждут свободы для всех”, потому что они “понимают, что кому нужно”.

Если уж интеллектуалы такие альтруисты, то им следовало бы говорить о своих **обязанностях**, о своем долге перед народом, а не о своей монополии на знание и нравственность.

Статья Шляпентоха претендует на то, чтобы быть **описанием** советских интеллектуалов. На самом деле в ней представлен самообраз советских людей, определяющих себя самих в качестве интеллектуалов. Это форма выражения культурно-политического снобизма верхушки советских средних слоев.

* * *

Все это касалось, так сказать, “стиля содержания”. Но в статье Шляпентоха есть детали, которые также характеризуют “стиль работы” наших носителей интеллектуального фольклора. Как они читают, как работают с чужой книгой, что из нее извлекают?

В начале статьи Шляпентох говорит, что интеллектуалы стремятся к истине — это у них от образа жизни и таковы уж они есть. Он замечает далее, что с этим были согласны такие-то и такие-то. Следует список имен и среди них имя Жюльена Бенда.

Ссылка на Жюльена Бенда выглядит очень подозрительно. Дело в том, что как раз Жюльен Бенда весьма резко критиковал интеллектуалов. Он считал их предателями общества. Его книга так и называется “Предательство интеллектуалов”.

Если Бенда и написал что-то такое, что показалось Шляпентоху совпадающим с его мыслями, то это чистое недоразумение и скорее всего оно возникло из-за того, что Шляпентох крайне невнимательно ознакомился с его идеями.

Судя по ссылке, Шляпентох ознакомился с французским оригиналом Жюльена Бенда. Напрасно, потому что есть английский перевод. Надо полагать, английский язык Шляпентоху все же ближе, чем французский, и, читая книгу на английском языке, он, может быть, лучше почувствовал бы, что имеет дело со своим идейным противником. Во всяком случае, я должен заметить, что мое неприятие стиля и деклараций Шляпентоха в большой степени объясняется влиянием Жюльена Бенда, и это абсолютно не случайно.

Другой пример еще интереснее. Он касается русской литературной классики. Один из опросов, сообщает Шляпентох, показал, что русские читатели теперь предпочитают таких авторов, которые заняты "вечными" проблемами жизни и "универсальными ценностями". Это Толстой, Достоевский, Чехов, Куприн, Бунин. "Социально ориентированные авторы менее популярны", — пишет Шляпентох.

Деление русского литературного корпуса на "универсальников" и "социальников" само по себе крайне сомнительно. Еще более сомнительно выглядит приводимый Шляпентохом список "универсальников". Это Чехов, что ли, не был социально ориентированным? Или Толстой? Почему Куприн более "универсальник", чем Горький, например? А где Пушкин, Гоголь? Они что — социальники? Что за вздор, в самом деле.

Если опрошенные интеллигенты в самом деле так мотивируют свое отношение к русским писателям, то это безусловно интереснейший факт. Но опять — наблюдаемый факт не равен сам себе. Он имеет какое-то объяснение, и его следует поискать.

Тут есть одна интересная деталь, которая, возможно, толкнет нашу мысль в продуктивном направлении. А именно: герои Толстого, и в особенности Достоевского, вправду больше занимаются **открытым морализаторством**. Вероятно, это и сбивает интеллигенцию с толку. Возможно, поэтому она питает такое пристрастие к этим двум писателям: она, как и Шляпентох, считает, что должна **демонстрировать** свой интерес к универсальным проблемам. И называет Толстого и Достоевского потому, что надеется таким путем продемонстрировать искомое свойство наиболее наглядно.

Впрочем, в статье Шляпентоха не сообщается, действительно ли опрошенные обосновали свой выбор теми соображениями, которые им приписывает Шляпентох. Но я думаю, что если бы их спросили об этом, они ответили бы то, что Шляпентоху хочется. Так всегда бывает, когда опрашивающий — один из опрашиваемых.

Я не полемизировал со статьей Шляпентоха. Шляпентох отзываясь об интеллектуалах похвально, даже восторженно. Я вовсе не хотел сделать своей критикой заявку на противоположное — негативное — мнение об интеллектуалах.

Я хотел лишь показать, что статья Шляпентоха — чистая политическая апологетика, выражение претензий, точнее легитимизация претензий...на что?

На власть? Не думаю. Это не модно. Хотя это не исключено в конечном счете (если уж верить Фрейду...).

Но пока — более реалистически — я думаю, что легитимизация претензий на официальный статус. Статья Шляпентоха свидетельствует о том, что есть группа людей, которые очень уважают себя, разработали обоснование самоуважения и теперь устами Шляпентоха декларируют это обоснование, надеясь, что другие группы примут все это за чистую монету.

Мы должны уважать профессиональных интеллектуалов; как правило, это люди, которые умнее и учнее нас. Но в тот момент, когда они вообразят себя социальной группой, наделенной гражданскими добродетелями в особой мере, я думаю, мы проявим благоразумие, если откажемся этому верить.

Статья Шляпентоха "не комментарий к виду, а сам вид" (Нозем Чомский).

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

МИХАИЛ ФЕДОТОВ.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

В первой книге иерусалимского писателя, бывшего ленинградца М. Федотова собраны его роман "Соотечественники", повесть в новеллах "Богатый бедуин и Танька", рассказы и эссе. Точный и беспощадный взгляд, жесткий реализм и одновременно слегка романтическая манера автора в сочетании с острой сюжетностью и психологической глубиной выделяют произведения М. Федотова в потоке эмигрантской литературы.

Цена 15 шек. в Израиле, 15 долл. в Европе и США. Заказы и чеки принимаются по адресу: п/я 6997, Иерусалим, М. Федотов.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Михаил Хейфец

ИДЕОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ

(заметки на полях после чтения книги А. Безансона "Русское прошлое и советское настоящее", изд. ОПИ, Лондон, 1985 г.)

Возьмем, предлагает Безансон, такие распространенные утверждения:

1. "СССР с его годовым производством стали в 145 миллионов тонн является первой металлургической державой мира.

Каждому известно, что СССР производит автомобилей не больше, чем Испания; что оснащение домашних хозяйств приборами из стали несравнимо с французским; что длина его железных дорог не больше, чем в Индии; что производство танков не в состоянии поглотить больше 1–2 миллионов тонн в год. Что же может означать эта магическая цифра — 145 миллионов тонн в год, то есть продукция Японии и Германии, которые производят около 12 миллионов автомобилей и еще массу всяких других вещей? Следует, по-видимому, предположить, что в это число входит: 1) производство настоящей стали; 2) производство бракованной стали; 3) производство низкокачественной стали; 4) производство стали, предназначенной для ржавения; 5) производство мнимой стали и наконец 6) мнимое производство стали. Таким образом, утверждение "СССР является первой металлургической державой мира" должно восприниматься в некотором необщепринятом смысле, поскольку нельзя сравнивать несравнимое. США и Япония не производят в сколько-нибудь сравнимых количествах пять последних категорий стали, которые СССР так изобильно выплавляет на своих гигантских металлургических комбинатах..."

2. "СССР является второй экономической державой мира.

Эта аксиома из учебников географии и избитая истина в устах наших (то есть французских. — М. Х.) руководителей. Но экономисты, сформулировавшие это, добавляют, что подобная "табель о рангах" справедлива в случае, если исходить из официального курса рубля... Те же экономисты сообщают, что объем советской внешней торговли в денежном исчислении не превышает аналогичную цифру для Бельгии, но характеризуется худшей структурой... И еще добавляют, что в СССР уровень механизации ниже, чем в Бразилии; меньше телефонов (в абсолютных цифрах), чем в Испании; практически отсутствуют компьютеры и ксерокопировальные устройства в быту у населения; чековая книжка и кредитная карточка вообще неизвестны населению; всевозможные научно-технические исследования и разработки не позволили СССР вырваться вперед ни в одной важной области науки и техники (за исключением военных и полувоенных приложений)... Вторая экономическая держава мира? Вероятно, хотят сказать, что СССР — первоклассная военная или политическая держава, что в

его недрах скрыты все минеральные ресурсы Земли, что страна обладает неограниченными потенциальными богатствами, гигантской территорией, огромным населением, значительным объемом "производства", — но это вовсе не превращает ее во вторую эконо м и ч е с к у ю державу мира".

Таков стиль и подход к явлениям у автора книги, озаглавленной "Русское прошлое и советское настоящее" — известного французского советолога Алена Безансона.

* * *

Безансон вскрывает многие парадоксы современного мира, которые мы, бывшие советские граждане, наблюдаем теперь на Западе. Мы видим, что Запад намного сильнее Советского Союза экономически (Безансон ехидно отмечает, что любой провинциальный французский супермаркет богаче закрытого распределителя советского ЦК); догадываемся, что даже с военно-технологической точки зрения Запад, к нашему явному удивлению, значительно превосходит СССР, — и понимаем, что так было, наверно, всегда, с самого 1917 года. Тем не менее как раз с того самого года территория, подвластная "социалистическому лагерю", неизменно расширяется (единственное исключение — маленькая Гренада, чудом вырвавшаяся из "братских объятий" с помощью военной интервенции США), и власть Кремля над миром неуклонно увеличивается.

В чем причина постоянного советского превосходства в мировых делах — превосходства, удивляющего всех именно потому, что оно постоянно совмещается со слабостью и отсталостью СССР в делах внутренних — экономических, политических и даже военных?

* * *

В век беспримерного развития информации и коммуникаций для внешнеполитических побед оказалось недостаточно перевеса в экономикотехнической сфере, как это считалось во времена Карла Маркса. Решающей ныне видится борьба в сфере идей — в сфере символов и пропаганды.

Запад, а особенно англосаксонский мир, где всегда были сильны традиции эмпиризма, прагматизма, практицизма, этого нового обстоятельства долго не понимал. Там казалось, что если каждый может своими глазами увидеть, что на Западе люди живут лучше, богаче, свободнее — зачем об этом вещать, зачем тратить силы и средства на б о л т о в н ю, когда можно в это же время и на эти же средства делать реальное дело?

Но оказалось, что в современном мире люди скорее готовы умереть за абстрактную идею, за явную утопию, чем за вполне реальные блага "общества потребления". И вот это-то превосходство идеологического фактора обеспечивало победы "реального социализма".

Югославский философ Михайло Михайлов так формулирует центральную проблему XX века: "В мире нынче идет борьба между двумя концепциями жизни, а не только между двумя типами организации общества.

Противоборство охватывает все сферы жизни человека. С одной стороны — концепция полностью планового общества (не только плановой экономики), в котором практически самым большим врагом считается свобода отдельного человека; с другой — общество, в котором эта свобода является основополагающим принципом. Все остальное — второстепенно и производно от этого противостояния” (“Форум”, № 15, стр. 130).

Кажется, на Западе только недавно стали осознавать, что поведение людей определяется их сознанием, а не бытием, и что поэтому мир идей не менее реален, чем мир экономики и техники. По оценке того же М. Михайлова, это произошло лишь в годы президентства Дж. Картера, впервые начавшего борьбу за права человека во всем мире. Важнейшую роль в обострении этого внимания к идеологии сыграли западные философы, изучившие советский феномен: М. Новак, Р. Конквест, Ж.-Ф. Ревель. Во Франции человеком, вставшим у истоков аналогичного процесса, был философ Ален Безансон.

* * *

Начинал он как нормальный, обычный советолог. “Я вспоминаю о разговоре, который был у меня с одной пожилой дамой в Москве, — пишет он. — Да, — говорил я даме, — этот режим ужасен, но при теперешних темпах развития вы, в конце концов, модернизуетесь. Через десять-двадцать лет материальный уровень изменится настолько, что волей-неволей будет вынужден измениться и стиль политической жизни”. Моя приятельница взглянула на меня и замолкла. Своими необдуманноными словами я сразу поставил себя в ряд тех неисправимых недоумков, которым бессмысленно что-либо объяснять. Просто представить себе, что в 1981 году московские магазины будут ломиться от товаров, не будет больше очередей, а население воспользуется благами и услугами, сравнимыми с теми, которыми пользовалась Европа в 1961 году, казалось ей немислимым... Эта женщина ничего не понимала в политэкономии. Свои аргументы она черпала в другом месте. Разумеется, она была права”.

Отличие Безансона от многих его коллег заключалось, видимо, в чуткости к оценкам и восприятию советской действительности со стороны тех, кто являлся советской “рыбой в аквариуме”, то есть со стороны самих обитателей советского общества, пытавшихся оценить его изнутри. Это вовсе не значит, что Безансон принимал их оценки или разделял их мнения; наоборот, он часто и убежденно спорил с внезапно заговорившими “обитателями аквариума”: он был их собеседником, а не учеником. Но собеседником, который с уважением относился к опыту оппонентов, ему недоступному, который не отбрасывал их рассуждения в угоду предвзятым теоретическим схемам, даже если был с ними несогласен, а включал их опыт и их реакции в систему методологии познания советской действительности.

Если грубо сформулировать, в чем заключается отличие подхода Безансона к СССР от подхода большинства авторов — выходцев из современной России, то мне представляется, что наших бывших соотечественников при изучении советского строя больше интересовала, так сказать, его ф и з и к а : конкретное устройство советского общества, функциониро-

вание "групп интересов" (классов) и прочее. Ибо они искали конкретные способы преодоления советского Зла, а для этого нужно было показать Союз вблизи, без мистики, на короткой, возможно — вообще на сиюминутной дистанции. Для Безансона же этот феномен (СССР) в известной мере являлся теоретической моделью, объектом, находившимся как бы по ту сторону микроскопа. Его заинтересовала не физика, а метафизика советского строя, его духовный, а не материальный скелет.

Например, М. Восленский в "Номенклатуре", подробно и очень живо описав функционирование правящего слоя советского общества, под конец вдруг не выдержал и обратился к номенклатурщикам: "Подумайте, ведь это патология — жить хуже, чем вы могли бы, только для того, чтобы остальные жили еще хуже". Но изучением этой патологии Восленский заниматься не стал, ему это было неинтересно, он ее просто констатировал. А для Безансона именно патология и стала главным объектом изучения.

Трудно удержаться от сравнения: другие исследователи полагают, что нынешняя Россия больна физически, что у нее повреждены какие-то внутренние органы, и они изучают ее, как терапевты или хирурги у постели больного. Безансон же считает, что страну и народ поразила болезнь психическая, и определяя советские социальные феномены как следствие этой главной болезни, он пытается выяснить, в чем заключается причина коллективного сумасшествия великой страны.

В этом сравнении уже заключен намек на позицию, занятую французским исследователем при решении проблемы, которая после появления исторических романов Солженицына стала едва ли не центральной в русскоязычной эмигрантской печати: где лежит первоначальный источник заболевания России — в ее ли собственном прошлом, так сказать, в национальных генах, то есть является ли болезнь наследственной, как предполагали, вслед за Бердяевым, А. Янов, В. Соловьев и Е. Клепикова, а из западных ученых — Р. Пайпс и его школа, или же это определенное следствие занесенной извне заразы, международной по своему характеру (как считают А. Солженицын и его последователи)?

По мнению А. Безансона, неверны оба подхода. Психическое заболевание, что у человека, что у общества, не есть, как правило, заболевание только заразно-инфекционное, но оно же вовсе не обязательно является и наследственно-предопределенным. Говорить о России: "Она всегда была такая" — примерно то же, что утверждать про заболевшего душевно человека: "Да он с пеленок был больной" — и припоминать при этом все случаи нервных выходов и срывов в его прежней жизни, каких достаточно у любого индивидуума, впоследствии отнюдь не заболевшего. Но точно так же нелепо говорить про страдающего манией преследования: "Вот, не пугали бы его злые люди, остался бы здоровым..."

По Безансону, множество примет нынешнего советского заболевания напоминает российское прошлое, но не это прошлое само по себе породило исследуемую болезнь. И хотя официальным наименованием советской болезни был с самого начала заявлен иноземный марксизм, но, по Безансону, марксизм тут был тоже "не слишком-то причем"! Путаница возникла

потому, что советская болезнь постоянно скрывала свое лицо за взятыми напрокат — то в российской истории, то в западноевропейской философии — масками; и те, кто принимал маску за подлинное лицо болезни, невольно совершали ошибку. На самом деле, перед нами совершенно оригинальный феномен, никогда дотолем не существовавший ни в России, ни на Западе, феномен, впервые созданный Лениным и затем усовершенствованный Сталиным. Болезнь овладела прежде всего Россией лишь потому, что именно там она была придумана, зачата, выведена, но на самом деле эта болезнь имеет общемировой, а не чисто национальный характер.

Постоянное использование масок — специфическая черта этого феномена, утверждает Безансон. В России в качестве одной из таких масок был использован марксизм, в качестве другой — славянофильство, третьей — “официальная народность”, четвертой — западничество. Однако ошибочно полагать, будто ленинский феномен действительно наследует этим идеологиям. На самом деле, говорит Безансон, он отсекает от каждой идеологии-маски ее жизненно важную, жизненно необходимую составляющую (что, собственно, и позволяет Безансону считать их только “личинами”, а не подлинными историческими родниками ленинизма). Разве возможен, например, какой бы то ни было марксизм без интернационализма? Славянофильство без соборности? Официальная народность — без православия? Разумеется, партия, захватив материальные ресурсы России, пробует завладеть и духовными ресурсами бывшей империи: “Ленинизм принял наследие западников — стремление к просвещению, к образованию, к разуму, к организации. Западные левые узнают себя в ленинском наукопоклонстве, в придании этической ценности революционным действиям. Одновременно ленинизм принял значительную часть славянофильского наследства: идеи коллективизма, мессианства, презрения к гнилому Западу. Он унаследовал, наконец, официальный национализм, то есть доктрину петербургского государства”. Но все это наследование, по Безансону, было обманом: “Большевизм присвоил себе, казалось бы, всю русскую историю... Всем партиям, от Брусилова до Мартова, казалось поэтому, что выполняется их программа. Но наследник отказывается от наследства. Снаружи синтез представляется осуществленным, изнутри он отвергается”.

В действительности, феномен, созданный Лениным, имел источником не какую-либо из прежних, а совершенно новую идеологию — такую, где целью всех усилий государства и общества была поставлена неисполнимая утопия. Само по себе стремление к утопии отнюдь не является уникальным в мировой истории. Такое бывало не раз, и Россия тут не оригинальна. Но, по Безансону, в тех случаях, когда аналогичные утопии завладевали массами и властью в других странах, обычно происходило следующее: идеологические диктатуры, столкнувшись с упорным сопротивлением “первичной исторической материи”, с ее непреодолимым нежеланием идти по пути навязанной ей утопии, в конце концов теряли власть. Уникальность феномена Ленина заключается в том, что он включает методы сохранения и выживания идеологической диктатуры, построенной на стремлении к такой утопии.

Важнейшим из этих методов является фальсификация истории и языка. "Не имея возможности воздействовать на реальность, большевики сохранили возможность воздействовать на представление об этой реальности". Так общественное сознание вступило в мир безумия: "Преобразование действительности при незнании того, что представляет собой действительность, и утрата, таким образом, контакта с действительностью — вот то общее, что объединяет сумасшедшего с идеологом, находящимся у власти".

Почему А. Безансона не устраивают традиционные модели эксплуататорских государств, принятые в истории? Почему он отказывается воспринимать Союз как нормальную олигархию или нормальную тиранию, как нормальную революционную диктатуру, каких немало уже было в мировой истории? Потому что, как мне представляется, Безансон исходит из марксова учения о том, что н о р м а л ь н о е поведение господствующего класса диктуется его стремлением к своей классовой выгоде. Между тем господствующий класс в СССР живет так плохо, так бедно, так несвободно, добивается для себя таких незначительных привилегий ценой таких невероятных усилий и страданий, что говорить о какой-то его "классовой выгоде" просто невозможно. Остается заключить, что этот класс ведет себя — н е н о р м а л ь н о . Изученный Безансоном материал Смоленского партархива подтверждает это, показывая советских номенклатурщиков как измученных непосильными требованиями начальства людей, запуганных, задерганных субъектов, в виде компенсации получающих, скажем, "право" на выбор... нескольких блюд в закрытых столовых! То есть "право" на то, что не только в Европе, но уже и в Третьем мире сегодня имеет почти любой бедняк. (По аналогии мне вспомнилось прочитанное в "Круге" интервью сапожника из Хайфы господина Шварцберга: разведясь с женой и оставив ей государственную квартиру, он был настолько потрясен тем, что власти не дали ему новую площадь и он вынужден снимать маленькую квартиру за собственные деньги, что написал жалобу на это в московскую "Литгазету". Поучительна здесь не только убежденность советского сапожника, что он должен получить от Израиля еще одну хорошую квартиру, но и убежденность в том же самом "Литературной газеты": ведь он не в СССР, а в Израиле живет! Уверен, если бы в СССР номенклатурщик среднего ранга, отказавшийся от государственной квартиры в пользу жены, потребовал себе за это новую квартиру, та же газета сочла бы его наглцом!)

Итак, Безансон утверждает, что безумная ситуация, при которой господствующий класс великой империи живет хотя и лучше, чем его подданные, но значительно хуже, чем рядовые обитатели почти во всем остальном мире, объясняется тем, что некогда в основу социального преобразования России была положена идея неосуществимой утопии. И эта идея д о с и х п о р определяет — как скелет — поведение правящего класса этой страны. Этот класс вовсе не обязательно верит в постулаты и догмы утопии, но он руководствуется ими в общественно-политической жизни, на практике. Почему? А именно потому, что в борьбе идей, которая играет такую огромную роль в жизни XX века, утопические лозунги "реального социализма" всегда приносили и приносят советским лидерам внешнеполити-

ческий успех. А практика, как известно, и есть для них "критерий истины".

Но почему же утопия, положенная в основу конкретной политической линии, не приводит к развалу, а наоборот, приносит своим слугам все новые и новые победы? Как может безумие оказаться "истиной"?

Безансон видит причину этого в умелом использовании диктатурой двух изобретенных еще Лениным методов, которые можно условно обозначить как "военный коммунизм" и "нэп".

Военный коммунизм — это совокупность общественно-политических действий, направленных на осуществление коммунистической утопии, а потому неотвратимо ведущих к разрушению общества вплоть до его возможной гибели. Кстати, такая гибель исторически не исключена — так погибло, например, государство "красных кхмеров" в Камбодже, так накануне возможной гибели находилось китайское общество периода "культурной революции", так рухнула "гренадская революция".

Открытие Ленина, спасающее его наследников от гибели, заключается в обязательной замене "военного коммунизма" "нэпом", как только живые силы общества окажутся слишком близки к истощению, а диктатура — к гибели. В этот момент (который для прежних диктатур был роковым) теория Ленина диктует советской диктатуре временное отступление от утопии "военного коммунизма" — к "нэповской" передышке, которая позволяет обществу набрать новые силы. Со временем эти силы вновь будут израсходованы на очередной рывок "военного коммунизма"; и тогда вновь наступит очередной этап "нэпа" — и так до бесконечности. Таким образом, история советского общества представляется Безансону пульсирующим чередованием самоубийственных стремлений к утопии со спасительными отступлениями к "нормальной линии", которые используются однако лишь для новых рывков все к той же недостижимой цели.

Все это парадоксально уже само по себе. Но парадокс усугубляется тем, что советская утопия, не дождавшись традиционной исторической "реставрации" (такой реставрацией всегда завершались революционные вспышки в Западной Европе), тем не менее сыграла колоссальную положительную роль во всемирном масштабе. Все реально возможное в ленинской утопической программе, все, что никак нельзя было претворить в жизнь в обесиленном советском обществе (но что, тем не менее, провозглашалось в Москве осуществленным), но что было в принципе осуществимым, было действительно осуществлено, — но не в России, а на Западе, всерьез воспринявшим советские потемкинские деревни. Конечно, Запад не смог ликвидировать безработицу, это было бы утопично, но зато он создал систему пособий по безработице, смягчив и ослабив главную трагедию капитализма XIX века. И Запад сделал это прежде всего в конкурентной борьбе с большевизмом. Запад ввел и бесплатное медобслуживание (в СССР мы впервые узнали об этом лишь тогда, когда английские консерваторы стали подумывать о его отмене), и обширные программы пенсионного обеспечения, и дома отдыха для трудящихся, и оплаченные отпуска — и все это в значительной мере, именно под влиянием советского идеологического вызова.

ва. С этой точки зрения мы действительно оказались свидетелями невероятного парадокса: подлинное революционное обновление, которое в классических революциях всякий раз утверждалось после реставрации (оставлявшей в неприкосновенности реальные элементы нового строя и отменявшей обычно его утопию) действительно произошло — но за пределами СССР, на Западе; в этом смысле “Великий Октябрь” сыграл поистине всемирно-историческую роль, но несчастная Россия заплатила невероятными страданиями и бесчисленными жертвами не за свое собственное обновление и благополучие, а во имя обновления и благополучия остального мира. В возникновении сегодняшнего “общества благоденствия” на Западе роль советской России, считает Ален Безансон, трудно переоценить.

* * *

Оценивая силу и слабость общества советского типа, Безансон полагает, что и то, и другое коренится в особенностях общечеловеческой психологии.

Сила советского общества имеет источником природную психологическую слабость отдельного человека. Во-первых, человеку всегда хочется опереться на Высшее Знание, апеллирующее к неопровержимым аксиомам, и ленинизм ему такие “аксиомы” предлагает. Во-вторых, человека пугает сложность и неизвестность. Жизнь на Западе богаче — да; интереснее — да; разнообразнее — да, но зато она сложнее, чем в СССР: на западного человека давит пресс налоговых деклараций, инфляции, постоянных перемен, постоянной необходимости выбора всего на свете в условиях недостаточной информированности. В аналогичной ситуации жизнь советского человека беднее, скуднее, но зато гораздо проще. Намного проще! Конечно, западное общество доставляет своему обывателю больше удовольствий. Но и советское общество снабжает его неплохими суррогатами: там, где западный обыватель получает в награду красивый автомобиль, советский — нормальную, а то и копченую колбасу. И он испытывает от этого такое же удовлетворение, как западный обыватель — от своей машины. Простота жизни — это огромный плюс для многих, очень многих людей!

Слабость советского общества — в той же самой психологии обычного человека. Ибо такому человеку хочется не просто опереться на Высшее Знание, но — это свойственно каждому — еще и быть уверенным в его исходных постулатах. И тут вдруг он выясняет, что советское Высшее Знание опирается на приблизительные формулировки, на концепции, лишь слегка похожие на истины. Например, вся стройная громада “Капитала” держится на зыбком основании — на определении стоимости (принадлежащем, кстати, даже не самому Марксу, а Адаму Смиту и другим классикам политэкономии). Или другое: Марксово утверждение о неизбежной смене одних общественно-экономических формаций другими не выдерживает первого же сопоставления с фактами неевропейской истории. Наконец, вся теория о решающей роли экономических факторов в истории, такая убедительная на первый взгляд, рушится, как только человек вспоминает

победу христианства над Римом, бедуинов-мусульман над Византийской и Иранской империями или самое близкое — победу русской интеллигенции над могущественной империей Романовых. Высшее Знание, апеллирующее не к религии, а к науке, оказывается вдруг сомнительным и неустойчивым, как только оно поверяется всей совокупностью фактов, доступных разуму любого человека. Вторая слабость режима связана с "принципом удовольствий". Одним из необходимых удовольствий любого человека является также с в о б о д а , которой при реальном социализме вообще нет. Не политическая свобода (без этого блага как раз многие легко обходятся), но простейшая свобода самовыражения, свобода быть самим собой. Постоянная ложь режима, без которой он не может существовать (не потому, что во главе его находятся плохие, лживые люди, но потому, что легитимацию режиму дает лишь утверждение, что утопия осуществляется, хотя она принципиально не может осуществиться, и режиму приходится изворачиваться, уверяя, что построен "полный социализм", потом "окончательный социализм", потом "зрелый", потом "развитой", потом "цельный" и так далее) — так вот, постоянная ложь режима, вовлекающая всех граждан в грандиозные массовые постановки, противоречит основам психологии обычного человека. Этим самым она раздражает его и постоянно порождает оппозицию.

На мой взгляд, лучше всех об этом написал Дж. Орвелл. В его романе "1984" сюжет завершается как будто бы трагически: "Ангсоц" победил восставшего человека — Смита. Но параллельно с этим героем действует малоаметный персонаж, про которого читателю известно, что вот это-то никогда не восстановит, что он создан точно по колодкам двоещелочного Нового Общества. Однако когда Смит попадает, наконец, в тюрьму, первым, кого он там встречает, оказывается этот самый обыватель, который успел сесть даже раньше бунтаря — он-таки не выдержал и во сне начал проклинать Большого Брата...

* * *

На меня лично книга А. Безансона производит впечатление некоего "незавершенного усилия". С одной стороны, автор с блеском и изяществом определяет суть советской системы. Его французский афористический блеск пленителен, и чувствуется, как трудно приходилось переводчику, А. Бабичу, когда он пытался передать по-русски "галльский острый смысл" построений Безансона. И все-таки...

Долг чести требует от меня прямо высказать свои претензии к автору — вполне возможно, несправедливые. Мне кажется, что, рассматривая Советскую Россию в качестве уникального, психически сумасшедшего общества, не имеющего аналогов в истории, Безансон слишком просто принимает за н о р м у современные европейские стандарты (как известно, вопрос, что именно считать нормой, и есть один из центральных в психиатрии). Разумеется, автор прав, когда отвергает параллель между деятельностью Петра I и Ленина, указывая, что Петр строил не утопию, а вполне реальное для его эпохи европейское государство. При этом царь безусловно перенапрягал силы государства, действовал варварски беспо-

щадно и круто, но, поскольку самые цели, поставленные стране, оказались вполне реальными, то спустя полвека, когда Россия оправилась от жестоких кровопусканий, семена дали всходы — в эпоху Екатерины II. Ленин же строил утопию, и потому спустя полвека после его смерти Советская Россия так же далека от “вымечтанного” им социализма, как и при его жизни. Аналогичным образом Ален Безансон проводит исторические параллели с подобными явлениями в истории... Но ведь даже в российской истории мы, кроме Петра, помним еще Ивана Грозного, едва не разрушившего свое царство в поисках невысказанного на Земле утопического монархического идеала!

Не одними материальными интересами движется история мира, и, может быть, не столько ими: время от времени накатывает на Землю “идеологическое безумие”, и возникают идеологические диктатуры — в каждую эпоху со своим, особенным механизмом и со своими, неожиданными историческими следствиями. Вспомним христианский вал, накативший на Римскую империю: так ли уж отличался от товарища Сталина французский епископ, который в дни тотального истребления крестоносцами жителей Прованса приказал — убивайте всех, на том свете Господь разберет, кто наши, а кто не наши!

Нельзя не вспомнить и великую идеологическую революцию пророка Мохаммеда в VII веке, охватившую полмира и оплодотворившую во времена крестовых походов немусульманскую Европу, давшую ей толчок к новой жизни, пронизавшую идеологическим костяком жизнь громадного афро-азиатского региона, мусульманскую идеологическую диктатуру, сменившуюся угасанием, погружением региона в историческую спячку, в технико-культурную зависимость от европейских соседей, в паразитирование на этих соседях, в бесплодную растрату народной энергии, которая иногда выплескивается в виде комплекса национальной ущербности... Уже в наши дни мы видели, как мусульманский фундаментализм отторгнул цивилизацию в среде народа, почти приблизившегося к европейскому уровню существования — иранского.

Разумеется, аналогии и исторические параллели не являются аргументом. И все-таки воспоминание о двух великих идеологических революциях, одна из которых сумела — через продолжительный период времени — найти выход из исторического сна, а другая еще только пробует его искать, заставляет тех, кто “пришел с холода”, думать о способе спасения огромной части человечества от повторения тех исторических трагедий, которые, как мне кажется — вопреки мнению Безансона — уже не раз возникали в истории. А для этого помимо метафизики режима хорошо бы лучше узнать его физику...

Потому что оставить все, как оно идет, конечно, можно. Можно, но жалко, как сказано в печальном анекдоте армянского радио.

ЛЮДИ И КНИГИ

Михаил Вайскопф

ИСКУССТВО УМИРАТЬ

(“Стихотворения Михаила Генделева”, Иерусалим, 1985)

Комментарий к новой книге Михаила Генделева облегчен для меня обстоятельством, выигрышным для рецензента, — ее сюжет и направление были предсказаны в заметке (“22”, № 26), посвященной предыдущему собранию стихотворений — “Послания к лемурам” и, в частности, “серебряной осени Палестины”. Нынешний корпус текстов естественно задан предшествующим и развивает ту же тему: “небытия” и “псевдобытия”. Между прочим, сходные мотивы психологически близки любому русскоязычному автору, вырванному из привычной культурной среды, более того — переселившемуся в государство, само существование которого несколько условно и порой служит укором логике. И все же никто, кроме Генделева, этой темы не сделал осознанной творческой доминантой. Объяснение, вероятно, лежит за пределами литературы и, следовательно, касаться его не будем.

Наряду с темой смерти Израиль способен предложить другую, созвучную с ней и столь же неисчерпаемую. Я говорю о чрезвычайно интенсивном ощущении единства времени, придающем отдаленнейшим событиям явственную актуальность и, в конечном счете, отменяющем само понятие времени.

Отхлыньте каменные воды
от ледяных берегов реки
где бывшие сидят народы
посмертно свесив языки
чудь весь и жмудь и рось — этруски
на ложе Каменной Тунгуски
Аккад под ледниковым льдом!
дивись как дым масляной роци
пламена жирные полощет
и где он Тир и где Сидон!

(“Ода на взятие Тира и Сидона”)

В последней вещи Генделева обе темы сплетены, но вторая решается через первую. Если для автора действительность есть иллюзия, метафора небытия, то единственно достоверным содержанием истории остается монотонность смерти. Отсюда производный мотив нескончаемой битвы как раскрытия и интригующего изобличения подлинной реальности:

Что поражает на войне —
Обилье тварей интересных...
а поражает на войне

что нагулявшись на свободе
назад приходит смерть — извне
чтоб нас своей вернуть природе

ибо

война — не мир обратный
но мир в котором все как есть
("Стансы Бейрутского порта")

Иными словами, война у Генделева освобождается от всяческого трагизма, превращаясь в ритуал, в веселую и злую игру с повторяющимися ходами. У кого еще можно встретить такое вот, столь же колоритное, сколь и колористическое описание:

Сириец
внутри красен темен и сыр
потроха голубы — видно — кость бела
он был жив
пока наши не взяли Тир
и сириец стал мертв
— иншалла.

("Стойте! Ты похож на сирийца!")

В книге изображен ночной, а вернее — мертвенный мир: "посмертный небосклон заря пронесит мимо"; Луна источает мрак — "черный свет"; "нас рассматривала тьма лунной своих глазниц", "тьма лун". Вместо дома — могила: "лежит лицом вся на лунный свет в морщинах каменная кровать"; вместо собеседника — отражение, двойник: "с кем и кому я не стелю на полу кто мне по каменному столу кружку подвинет и пищу жителя в нашем жилище". Телесное воскресение бессмысленно, смерть и бессмертие однозначны, заря — морок:

Тогда на горбе дромадера
— и вид его невыносим —
и вылетит заря-химера
приплясывая на рыси
на холме пепельном верблюда
переломив хребет Джаблута
в бурнуса белом мертвеца
разбросив рукава пустые
по каменной летит пустыне
с дыроу розовой лица

("Ода на взятие Тира и Сидона")

В "Простых военных октавах" сказано: "Рассвет начнется там, где был закат". Это значит: восхода нет, восток и запад тождественны, пространство — такая же тавтология, как время.

Приходится вместе с тем отметить неизбежную двойственность авторской позиции: уничтожая вещественные формы бытия, война тем самым вскрыва-

ет их элементарную, осязаемую реальность; с другой стороны, именно эта вещественность синонимична бренности, косности и потому — непсдлинности мира.

На этой двупланности последовательно разворачивается главный, скрытый сюжет книги, который я определил бы как парадоксальную попытку автора удостовериться в собственном существовании. Исходный момент — стремление лирического героя обрести телесность и пространственность: воплотиться.

Я встал запомнить этот сон
и понял где я сам
с ресниц соленый снял песок
и ветошь разбросал
шлем поднял прицепил ремни
и ряд свой отыскал
(“Ночные маневры под Бейт-Джубрин”)

Герой Генделева как бы воссоздает себя, собирает, выстраивает по частям:

Взят череп в шлем
в ремни и пряжки челюсть
язык
взят
в рот.

(“Война в саду”)

Коль скоро внешние реалии призваны закрепить и засвидетельствовать бытие героя, становится понятной его манера подтверждать свое присутствие ссылкой на внешние же обстоятельства. То есть, хотя автор постоянно выступает в роли свидетеля, функция этого мотива состоит как раз в его обратимости. См., например, в “Затмении луны” или в другом тексте: “С войн возвращаются ёсли живой значит и я возвратился домой”.

Но в процессе разлома и крушения реалий ссылки на них все резче обнаруживают свою несостоятельность. Смерть не дает “опоры телам”, настоящее бытие — не в косной материальности “фигур”, а в чистом движении, в линиях жестов, в слепую вычерчиваемых бабочкой-Психеей:

За то
что мотыльки в пространстве чертят
развертки жестов а не контуры фигур
что
не найдя телам
опору даже в смерти
мы через сад прошли и вышли на Дамур.

(“Война в саду”)

В цикле “Вавилон” Генделев, отойдя от описания войны, переводит в другой аспект тему снятия реальности, разрабатывая мотивы тягостной тавтологичности истории. Здесь остраняется то, с чем скреплено представле-

ние о поэте, — фетишизация языка. Земля возвращается к исходно-элементарной данности, к первобытному состоянию глины, к “мычанию неразделенной речи”:

Не родись в междуречье в законоположенном мире
глинобитной грамматики —
ею ли не пренебречь?

В хаосе разрушений и обнствлений отыскивается твердое неразложимое ядро — бытийствующее сознание автора. В начале цикла говорится: “ни нас нет ни теней”; в конце — провозглашается “день восьмой”, то есть воскресение, явленное в творчестве и избавленное от унижительного бремени телесности:

И все-таки
я — был
и белый свет
поил глаза мои на день восьмой творенья
о разве клинопись
на каолине птичий след —
предполагает
зоб и оперенье?

Другая незыблемая данность, обнаруживаемая в переменчивой, но однообразной веренице исторических событий, — Иерусалим, “вечный город”. И декларируя онтологическую связь с Иерусалимом, автор закрепляет за собой право смотреть на мир извне (“Смотри на вавилон со стен Иерусалима смотри: на вавилон”), признавая одновременно свою вещественную, пространственную включенность в набор исторических реалий. Однако этот оприходованный, инвентаризованный в книге быт истории отбрасывается в ненадежноеместилище “памяти”, обреченной погибнуть вместе с личностью автора. Последней действительностью — памятником творческого сознания — остается сама книга “Стихотворения Михаила Генделева”:

И себя понимая включенным в опись
при тишине читанную и при тьме
где от когда
не отличая вовсе
здесь
я ставлю себя как подпись
на пустых полях
в твердой памяти и уме.

Очень немногое уцелеет в ближайшее десятилетие от нашей — репатриантской и эмигрантской — культуры. Книга Генделева — сохранится.

“И все-таки я — был”.

ЯРОСТНЫЙ ИКОНОБОРЕЦ

Йешиягу Лейбовиц, профессор органической химии, доктор медицины и обладатель множеств других научных званий, — широко известная, хотя и противоречивая фигура на израильской сцене. Он приобрел популярность благодаря своему интеллекту, яркой индивидуальности и яростному нон-конформизму в вопросах политики и религии. Молодежь в особенности очарована его крайней откровенностью, сардоническим тоном и иконоборческими взрывами.

Со времени формального ухода на пенсию он публиковал мало, если не считать чисто научных статей; основные его взгляды изложены в "Ивритской энциклопедии", главным редактором которой он является уже много лет. Все его книги — это сборники эссе, статей и газетных публикаций. Его философские взгляды прозрачны, свободны от педантизма и профессионального жаргона. Его идеи, хотя и немногочисленные, просты, логичны и, как правило, фундаментальны.

За истекшие годы его концепция иудаизма претерпела изменения. Поскольку основа иудаизма, Галаха, создана в основном в изгнании и не приспособлена к проблемам независимого государственного существования, Лейбовиц теперь не считает возможным ее включение в законы государства. Он сдвинулся в сторону, так сказать, "индивидуализации" религии. Сегодня он рассматривает ее исключительно как дело индивидуального выбора и убеждения и старательно избегает всего, что пахнет принуждением.

Еврейская философия Лейбовица имеет отчетливый рационалистический оттенок. Она как небо от земли далека от всех концепций, рассматривающих иудаизм как основанный на мистическом переживании или чисто религиозном чувстве. Лейбовиц не приемлет Бубера, для которого иудаизм это, в основном, вера определенного специфического характера. Не интересует Лейбовица ни хасидизм, ни другие направления еврейского мистицизма, мессианизма или квазимессионизма. Разумеется, он ни в какой мере не принижает значение веры, но не она стоит в центре его концепции, в которой главным является "служение Богу" ("аводат а-Шем"), выражающееся в исполнении мицвот. Не без причины такой тип иудаизма называют "поведенческим". Любое поклонение святыням Лейбовиц считает идолопоклонством, не делая исключения даже для Западной стены, которую он называет "грудой камней, оставшейся от извращенного царя". Он отрицает религиозное и любое иное значение так называемого святого характера Земли Израиля, заявляя, что определение "святой" приложимо лишь к поведению разумных существ, которые обуздывают свои желания и склонности ради служения Богу. Это служение он видит в жизни по Торе и согласно мицвот. Такая десакрализация иудаизма у Лейбовица напоминает аналогичные тенденции в современном христианстве. Именно она принесла ему репутацию иконоборца в глазах ортодоксальных кругов.

Практически Лейбовиц отождествляет иудаизм с системой мицвот, которую евреи соблюдали на протяжении веков и в которой запечатлены опреде-

ленные символы религиозной веры. По Лейбовицу, именно исполнение мицвот порождает веру, а не наоборот.

Концепция Лейбовица включает идею, что служение Богу не диктуется страхом перед Его наказанием или надеждой на Его вознаграждение. Лейбовиц отвергает утверждение многих теологов и философов, будто религия "хороша для человека", поскольку помогает ему достичь индивидуального счастья, духовной возвышенности, поддержки в трудную минуту или удовлетворения других скрытых нужд и желаний. Всякий, кто служит Богу из этих соображений, служит в действительности не Ему, а себе. Религия на службе человека антропоцентрична, тогда как служение Богу теоцентрично. Подлинно верующий не должен спрашивать: "Что мне даст иудаизм?" — но лишь: "Что я обязан сделать, чтобы послужить Богу?"

Теоцентричная концепция религии имеет корни как в еврейской, так и в христианской традиции. Однако столь полное отрицание человеческого, гуманистических элементов иудаизма в еврейской философии встречается крайне редко и составляет особенность резко очерченной концепции Лейбовица. Возможно, она порождена его стремлением противопоставить крайности — в данном случае "теоцентричность" и "антропоцентричность". В действительности он не отрицает и не может отрицать искреннюю религиозную веру, каковы бы ни были ее мотивы, хотя бы потому, что многие высказывания Торы и пророков имеют явно антропоцентрический характер.

Поскольку для Лейбовица суть иудаизма заключена в Галахе, то весь библейский рассказ, его исторический фон, отдельные события и их хронология имеют для него второстепенный характер, а их соответствие или несоответствие данным современной науки лишено значения. Цель Торы — не изложение истории, более того — история (включая еврейскую историю) вообще не имеет религиозного значения. Он утверждает даже, что исторические события не имеют длительного влияния на религиозное сознание людей. Чудесные явления, описанные в Библии, не помешали евреям снова и снова обращаться к идолопоклонству с его моральными извращениями. Значит, эти события не имели глубокого влияния на веру евреев. Вера, по Лейбовицу, — это индивидуальный выбор человека, который решает следовать Торе, и выбор этот мало зависит от внешних событий. Он зависит, скорее, от процессов, происходящих в человеческой душе, чем от исторических влияний.

Такое разделение истории и религии помогает Лейбовицу преодолеть конфликт между библейской историей и данными современной науки. Ему не приходится оспаривать эти данные или их влияние на представления о генезисе еврейской религии. Аналогично подходит он к конфликту между религией и наукой вообще. Поскольку он считает сутью иудаизма Галаху, причем в ее устной форме, то полагает, что письменная версия заповедей может и не вполне точно передавать их глубинный смысл. А следовательно внешнее (словесное) оформление Торы не имеет абсолютного значения и не должно рассматриваться буквально. Поэтому противопоставлять историю сотворения мира, как она изложена в Библии и, скажем, в современной теории эволюции, бессмысленно. Задачи этих изложений принципиально различны. Тора, по Лейбовицу, предназначена определить место человека перед Богом и его обязанности по отношению к Нему, а не дать ему сведения

о мире, природе, истории и даже о нем самом. Иными словами, Лейбовиц снимает конфронтацию между религией и наукой, указывая на фундаментальное различие в их целях. Можно оставить за наукой правоту ее открытий, не ставя этим под сомнение истинность религии. Как говорит Лейбовиц, Шехина снизошла с горы Синай не для того, чтобы преподать историю и физику, а чтобы научить человека служить Богу.

Но в философии Лейбовица и этика оказывается отделенной от религии. Он полагает, что они зачастую друг другу противоречат. В Библии есть приказы, идущие вразрез с нашим этическим сознанием — например, приказ Самуилу убить Агага, царя амалекитянского, когда он становится беспомощным пленником. Возможно, в этих рассуждениях Лейбовица звучит отголосок философии Кьеркегора, считавшего религию и этику антиномичными и ставившего религию выше этики.

Если принять концепцию Лейбовица, то гуманизм, провозглашающий служение человеку, и религия, провозглашающая служение Богу, противоречат друг другу. Не случайно Лейбовиц нигде не упоминает о религиозном гуманизме и в этом глубоко расходится со своими бывшими коллегами по Иерусалимскому университету — Мартином Бубером, Хьюго Бергманом и Эрнстом Симоном.

Наконец, по Лейбовицу, необходимо отделить религию также и от государства. Поскольку главное в религии — Галаха, а создатели Галахи никогда не предвидели возникновения суверенного еврейского государства, то соединить Галаху с законами государства невозможно. Невозможно создать “Мединат А-Тора”, государство, основанное на Галахе. В бесчисленных выступлениях Лейбовиц выражает свое раздражение смешением религии и государства в повседневной жизни современного Израиля. Тут он сходится с крайними атеистами в требовании отделения иудаизма от государства Израиль и создания независимой еврейской религиозной общины, не поддерживаемой государством. Только такая община, считает он, обрела бы моральный авторитет, достаточный, чтобы стать эффективным критиком и даже противником секулярного государства. Цель этой борьбы состояла бы в превращении государства в еврейскую теократию.

Лейбовиц, стало быть, не возражает против предельной поляризации израильского общества с разделением его на две противостоящие общины — секулярную и религиозную, он даже считает это желательным и не закрывает глаза на возможные последствия, вплоть до конфликта (и не обязательно только в интеллектуальной сфере).

Философия Лейбовица вряд ли может привлечь еврейских скептиков и атеистов. По Лейбовицу, служение Богу в духе ортодоксального иудаизма — дело свободного индивидуального выбора. Но тогда спрашивается — зачем еврею возлагать на себя такой выбор? Ведь Лейбовиц не признает никакой формы религиозного утилитаризма. Почему же тогда путь служения Богу — только через Тору и мицвот? Нет, философия Лейбовица — скорее, форма интеллектуальной и психологической поддержки **уже верующему** еврею, который хотел бы признать за наукой и историей их относительную правоту и тем спасти свою традиционную еврейскую жизнь от глубокого конфликта. Рассматриваемая в таком плане, эта интерпретация традиционного иудаизма представляет оригинальную и смелую попытку преодолеть проблемы и трудности современного еврея, предпринятую изнутри ортодоксальных рядов.

ЛЮДИ И КНИГИ

А. Пташкин

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

М. Гиршин. "Брайтон-Бич". (Изд-во "Москва—Иерусалим",
Израиль, 1984)

"Я сам ждал телефонного звонка, однако все время звали соседку Татьяну Степановну Ирину Николаевну, о которой предупреждала, уходя, хозяйка и которая еще не вернулась с работы. И я в конце концов решил не выходить на звонки (ну их, все равно не мне!), к тому же испытывал довольно ощутимое разочарование, и один звонок я действительно оставил без ответа". И т. д.

Это отрывок из романа Марка Гиршина "Секретарюк против главинжа" ("22", № 15—16). Этот отрывок еще не самый трудный для чтения. Но и его читать невозможно. Громоздкая грамматика не просто рябит в глазах. Она еще не соответствует информативной ничтожности текста. При виде этого литературного сырья хочется переписать его, что называется, своими словами.

Например, так. "Я ждал звонка. Звонили, но каждый раз звали соседку. Хозяйка предупреждала, что так будет. Сперва я подходил, потом решил, что не буду. Все равно не меня. И один звонок я-таки пропустил".

Теперь, по крайней мере, понятно, что к чему и не надо перечитывать текст несколько раз, чтобы понять.

Спрашивается, почему Гиршин решил писать через пень-колоду вместо того, чтобы писать прямо, "своими словами". Задав этот вопрос, мы заглядываем в бездну совершенно еще не познанной действительности. Не будем теперь этого делать, а лучше приведем другую цитату:

"Рано утром Пишоника разбудил телефон.

Но трубку Пишоник взял не сразу. Раскрыв глаза, долго смотрел на потолок. Вспоминал, как он, еще недавно заведующий плодоовощным ларьком на одесском Новом базаре, оказался в Нью-Йорке...

Вспомнил. После чего воткнул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой и потянул с телефону трубку".

Это тоже написал Марк Гиршин. Это начало его романа "Брайтон-Бич". Марк Гиршин полностью сменил слог. Одного этого достаточно, чтобы считать его серьезным и настоящим писателем.

Радикальная смена "стилистической шкуры" означает, что писатель сознательно относится к слову и выбирает литературную технику.

На мой взгляд роман "Брайтон-Бич" — самое интересное из того, что было написано в эмиграции на русском языке, во всяком случае, об эмиграции же. Рациональность и адекватность ее стилистики, я думаю, заметны сами по себе, и несомненно в свое время литературоведы покажут это. Но высокий уровень стилистического сознания Гиршина уже сейчас нетрудно эмпирически подтвердить, сравнив "Брайтон-Бич" с "Секретарюком".

Глядя назад от "Брайтон-Бича", мы сможем обнаружить в "Секретарюке" достоинства, которых не заметили, когда у нас заплетались ноги в его

какой-то полупьяной сосредоточенно-безалаберной стилистике. Однако встав на благожелательную к "Секретарюку" точку зрения, мы все равно должны будем признать, что потенциальные достоинства этой книги остались нереализованными.

Происшедшую с Гиршиным метаморфозу можно объяснить разными способами. Вот некоторые из них.

Во-первых, можно думать, что психологический опыт процедуры эмиграции оздоравливает стилистический инстинкт писателя, избавляя писателя от некоторых предрассудочных представлений о том, что он — в роли "писателя" должен делать.

Во-вторых, можно думать, что материал Брайтон-Бича легче поддается литературной обработке, чем советская действительность. Иными словами "события" и "характеры" Брайтон-Бича не так сопротивляются их словесному моделированию. Если мы будем так думать, то наш интерес переместится от Гиршина к сравнительным особенностям действительности Брайтон-Бича и советской арены жизни.

В-третьих, можно предположить, что человек, оказавшись в иной среде, начинает иначе относиться к людям и к самому себе.

...Предполагать можно многое, и нужен целый отряд исследователей, чтобы проверить эти предположения. Я лишь хотел обратить внимание заинтересованных лиц, что метаморфоза Гиршина открывает интересные перспективы для размышлений.

Чтобы оценить эту перспективу, добавлю следующее наблюдение. Гиршин оказался примерно одним из ста, с кем произошла столь очевидная и радикальная метаморфоза. То, что произошло с ним, говорит о нем самом. То, что не произошло с остальными, говорит о чем-то гораздо более интересном и важном. Стилистика русскоязычной независимой литературы почти универсальна в своей фальшивой литературности и с большим трудом поддается изменениям. Этому вполне можно искать нетривиальное объяснение.

Так или иначе, удачный выбор стиля и тональность книги идут рука об руку. Гиршин особенно не заботится, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Поэтому его книга получилась правдивой, гуманной и даже мудрой. Чтобы убедиться в этом окончательно, нужно дочитать книгу до конца. Концовка "Брайтон-Бича" — одна из самых больших удач книги. Трудно завершить повествование о том, что в принципе не заверσιμο и в некотором смысле бесструктурно. Гиршину это удалось.

Но чтобы получить полное удовольствие от книги Гиршина, я посоветовал бы перед ней почитать его роман "Секретарюк..." ("22", № 15—16). А после "Брайтон-Бича" еще раз вернуться к "Секретарюку". Тогда толковый читатель поймет, что я имею в виду.

В. Сорокин. "Очередь". (Изд-во "Синтаксис", Париж, 1985)

- А я думал, что потерял.
- Слышь, не знаешь, который час?
- Не знаю.
- А где это... ааа, вон они... фу, черт, весь в песке...

— Вы сзади тоже испачкались.

— Сзади... черт...

Фрагмент из книги В. Сорокина "Очередь" взят наугад. Эта книга вся состоит из подобных кусочков, вытянутых в линию, в очередь. Название книги отражает прежде всего ее структуру. Главное действующее лицо в книге — очередь. Структура книги совпадает со структурой "действующего лица".

В. Сорокин не стал придумывать ни романов, ни пьес, ни эссе. Он записал подряд все, что слышится и произносится вокруг. Он составил энциклопедию реалий советского быта. Все мыслимые реплики, которыми обмениваются советские люди в жизни (в "очередях"), воспроизведены в книге В. Сорокина без видимой литературной обработки.

Эффект получился блистательный, и степень продуманности этого текста превышает все мыслимые пределы в русскоязычной литературе. Это — коллекция, перечень, коллаж, словарь. Сорокин воспроизвел весь мир ситуативных клише, с помощью которых автоматически общаются советские люди, стоя круглые сутки в бесконечной и неистребимой очереди за тем за сем, а в общем неизвестно, за чем и зачем.

Книга Сорокина — инвариант советской фельетонно-обличительной литературы, заполняющей юмористические страницы журналов, издающихся в Советском Союзе, а также издающиеся в эмиграции полукommerческие, полуинтеллектуальные издания, эту бледную тень советского литературного истеблишмента и американской массовой прессы.

Что превращает фельетонно-обличительную русскоязычную литературу в плохую? То, что авторы этого рода произведений настаивают на себе и вступают в открытые отношения с персонажами. В романах, рассказах, повестях — всюду — назойливо присутствует автор, слепо верящий, что только его нравственное и просвещенное присутствие в тексте поможет читателю разобраться, кто из персонажей негодник, а кто нет. Обычно это делает протагонист автора. Более утонченные эстеты внедряют в текст свой положительный авторитет с помощью нехитрой стилистики.

Экс-советские авторы почти автоматически прибегают к литературной технике, предусматривающей персонажи. Разумеется, в самой этой технике нет ничего криминального. Напротив, персонажный индивидуализирующий роман, вероятно, наиболее сложная и интересная форма литературного поведения. Однако, чтобы пользоваться техникой индивидуализирующего повествования, нужно располагать достаточным материалом для индивидуализации персонажей.

Между тем, по русскоязычной независимой литературе видно, что ее носители таким материалом не располагают. "Личности" в их тексте произносят безличные клише. И с ними происходят события-клише.

Реализация техники индивидуализирующего повествования сталкивается с целым рядом трудностей, которые можно было бы систематизировать, но теперь я не буду этого делать. Теперь мне интересно только заметить, что русскоязычные авторы — советские, экс-советские, периферийные и кружковые — этих трудностей не осознают и не преодолевают. В результате их тексты разваливаются, так как представляют собой неосозна-

ваемую эклектику эпоса и лирики. Фактически все это поп-арт неведомо для себя, или "литературное самообслуживание населения".

Поп-арт пополняется с двух концов. С одной стороны, за счет имитаций "настоящей" литературы, а с другой стороны, за счет аутентичного поп-арта, вдохновленного подлинным демократизмом. Первая разновидность поп-арта есть "китч". Вторая разновидность — ? Может быть, народное искусство?

Книга В. Сорокина принадлежит к этой второй категории. Это видно уже из того, что она представляет собой коллаж, точнее цепочку словесных коллажей. Возможно, некоторые из тех, кому книга Сорокина понравится, будут настаивать, что хитроумный автор утонченно воспользовался техникой поп-арта, как "открытым приемом", чтобы создать нечто "высокое".

Мне книга Сорокина очень понравилась, но я не вижу необходимости в такой аргументации. Мне кажется вполне достаточным уже то, что Сорокин написал аутентичный поп-арт. Поп-арт — низкое искусство (в том смысле что народное), но рядом с псевдовысоким и псевдонародным китчем аутентичный поп-арт может занять пустующее место "высокого" искусства. Именно там оказывается книга Сорокина, независимо от намерений автора.

Поэтический смысл книги Сорокина, вероятно, будет обнаружен в сообщении, что "в советской действительности нет личностей", а есть "замороженная словесная ткань". Мне это наблюдение представляется важным и определяющим для будущей высокой репутации книги В. Сорокина.

Любители отыскивать корни и влияния, очевидно, вспомнят в связи с книгой Сорокина обереутов. Связь лежит на поверхности, и я пошел бы дальше. На мой взгляд, книга Сорокина осуществляет потенциал, который сами обереуты не использовали: она намного значительнее их набросков. Но самое интересное, что Сорокин в отличие от многочисленных имитаторов обереутской линии развил их метод в нескольких отношениях.

С точки зрения литературного процесса книга Сорокина — важный сигнал русскоязычным писателям. Если они хотят продолжать использовать все ту же фактуру, то должны иметь в виду: э т а фактура в персонажах (и в авторе, замаскированном под персонаж) не нуждается. Сорокин вычислил инвариант фельетонно-морализирующего антисоциалистического реализма, сделав все предыдущие и последующие упражнения в этом роде как бы излишними.

Книга Сорокина виртуозно иллюстрирована (А. и М. Гран).

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Р. Н. ЭТТИНГЕР ЗА 1986 ГОД

Как мы уже сообщали, главная премия в области русскоязычной культуры в Израиле — премия имени Р. Н. Эттингер — присуждена в нынешнем году поэту Л. Иоффе, переводчице Ф. Гурфинкель и музыкальному трио инструменталистов-репатриантов из СССР во главе с А. Волковым. Предлагаем вашему вниманию речи лауреатов премии имени Р. Н. Эттингер, произнесенные на церемонии вручения премии в Иерусалиме в марте 1986 года и любезно предоставленные нам руководителем Фонда имени Р. Н. Эттингер проф. Э. Любошицем.

*Леонид Иоффе,
поэт, автор сборников
"Косые падежи", "Путь зари"
и "Третий город"*

Уважаемые присутствующие.

После моего более чем 13-летнего пребывания в Иерусалиме, куда я приехал из Москвы в ноябре 1972 года, и по опыту происходившего, а вернее, не происходившего в результате выхода сборников моих стихотворений, а также чтений и публикаций в различных издательских предприятиях здесь и на Западе, я никак не мог предполагать, что мое существование, как поэта, стаж которому более двадцати лет, будет отличено какой-либо литературной инстанцией, местной или западной, или хотя бы частью русской читающей публики, если таковая вообще существует. Как по-некрасовски сказал иерусалимский поэт Владимир Глозман: "Все меньше и меньше в народе умеют читать и писать", — читать и писать по-русски, надо думать.

Я благодарю уважаемых членов жюри и всех тех, кто причастен к сегодняшней церемонии и к тому, что ей неощутимо для нас предшествовало, за неожиданное, пристальное и благосклонное внимание, проявленное ими к моему существованию, как поэта. И особо дорого мне, что сама премия и ее вручение, соответственно, учреждена и происходит в Иерусалиме, в своем отечестве, где, по известному высказыванию, нет пророка, как в долгие уже наши здесь годы отчасти и было.

Не знаю, уместно ли говорить здесь о моих воззрениях на стихи, но обойтись вовсе без этого кажется мне уклончивостью и даже малодушием.

Я благодарен каждому поэту, оставившему строчку или, для сужения круга имен, скажем, строфу, которая в меня вжилась и стала моим достоянием на память, особенно если эта строфа понравилась или запомнилась не из-за лихих жанровых изюминок или пылких возрастных пристрастий, а из-за угадываемого в ней совершенства. Для этого, чисто стихового качества строк, строф и стихотворений московский поэт Михаил Айзенберг нашел хорошее название: "поэтический подвывих", хотя, как потом выяснилось, сам он подразумевал под этим термином нечто иное. Я же принимаю слова "поэтический подвывих" для обозначения в стихах того чисто

поэтического магнетизма, того покоряющего и немедленно пленяющего изгиба (как изгиб, но другой, — женский, у Достоевского), который во внешнем своем проявлении, то есть при восприятии нами читаемого вслух или написанного, сводится к исключительной, проникающей и пробивающей тебя красоте или “нравимости”. Набоков называл состояние подверженности такой, в его случае чисто прозаической, красоте, “холодным восгоргом” и говорил, что оно вызывает ощущение щекотки в спинном хребте.

Ленинградский поэт и ученый Лев Лосев, ныне проживающий в Америке, пишет, что ему случилось показать Виктору Шкловскому стихотворение определенного автора, прочтя которое, Шкловский сказал: “Так еще никто не описывал вещи”. Далее Лосев отмечает, что стихотворение произвело на Шкловского сильное впечатление. Я привожу этот пример, чтобы указать на некоторую тенденцию в отношении к стихам, распространенную, как мне кажется, среди тех немногих, кто говорит о русских стихах на Западе и расставляет поэтов по их альпинистским местам на Эвересте или, если хотите, на современном нам Олимпе. Тенденция эта — отношение к стихам по их внепоэтическим достоинствам, то есть по всему тому, чем можно заинтересовать и увлечь умного, взрослого читателя, уже забывшего или не знавшего и прежде бескорыстного увлечения поэтической красотой (в понятие которой нераздельно входит и смысл участвующих в ней слов) без привнесения второстепенных для нее привлекательностей, таких, как, например, в случае, идущем от Лосева, способ описания вещей или, я отхожу от примера, само их обилие, или, наконец, интересная фабульность пьесы, — все перечисленное второстепенно, если сделано автором в ключе прозаическом.

Это отличие “поэтического подвывиха”, разнесенного, если повезет, на все стихотворение, когда совершенной становится уже вся пьеса, от заправленного в ритмический, возможно с рифмами, канон повествования, — пусть умудренного, пусть интересного, пусть привлекающего своими “новинками” так называемого духа времени, — это отличие и является четкой границей, подчас трудноразличимой для читателя, не имеющего молодого бескорыстия любви к очаровывающему его слову, границей между самонесущими себя стихами и коверкающим поэтический вкус эпохи версификационным повествованием.

Что же касается давнего и недавнего прошлого русской поэзии и ее славных имен, то, кроме благодарности каждому поэту за строфы или стихотворения, в меня вошедшие, о чем я уже говорил, главными видятся мне те пьесы и имена, в которых не выпячиваются те или иные стилевые или смысловые линии, тождественные для читателя с именем поэта или его явления в поэзии.

В заключение скажу о географическом аспекте сегодняшней русской поэзии здесь и на Западе, существенном в нашем случае.

Когда я пытался заинтересовать некоторых говорящих и не говорящих по-русски лиц моим сборником стихотворений иерусалимского периода “Третий город”, я отмечал его историко-географическую особенность, говоря, что, насколько мне известно, это — первый в истории русской поэзии сборник стихотворений, написанных в Иерусалиме. Лишь после многократных повторений этой историко-географической рекламы я понял, что подобная реклама, подробность или курьез никак не могут способствовать

поднятию интереса к сборнику и по очень простой причине: тем, кому важны русские стихи, не так уж важно, что они написаны в Иерусалиме, а те, кому важно, что они написаны в Иерусалиме, не очень-то интересуются, в большинстве своем, русскими стихами.

То есть в самом пребывании русских стихов в Иерусалиме заключено некое противоречие: противоречие между историей и географией Страны Израиля, которые сформировались при языке нерусском и в нем живут, и русскими стихами, известно где выросшими и сформировавшимися, как вообще, так и в каждом из нас, и перенесенными вместе с нами в иные, исторически не впитанные ими цвета и звуки, и вообще в иную жизнь, происходящую в сдвинутом вниз — по широте месте — и в продвинутом, как мне кажется, вперед времени.

Но кроме универсального смысла стихов, то есть общечеловеческого, горящего по-русски смысла, существует еще смысл, открывающийся нам лишь при некоторой хотя бы схожести нашего внутреннего опыта с внутренним опытом поэта. Когда мы говорим, что этот поэт нам близок, а тот чужд, мы и говорим, кроме остального, о родстве внутреннего опыта или об отсутствии такого родства. Поэтому подлинная близость и сочувствие к значительной части стихов сборника "Третий город", которые появились как следствие переезда из Москвы в Иерусалим и последующего здесь пребывания, могут испытать лишь те читатели, кто, кроме способности очаровываться стихами, имеет еще сходный внутренний опыт, связанный с переездом сюда из Советского Союза и со сколько-нибудь длительным потом здесь пребыванием. Ведь это только название такое безобидно-житейское "переезд", а в действительности — это зигзаг и излом судьбы каждого, прошедшего через прыжок в иной мир, и событие, преисполненное такого значения для твоей личности, словно бы живешь две жизни или умираешь двумя смертями, когда смерть одной жизни уже была при казавшейся неотвратимой и оказавшейся непоправимой перемене места и судьбы. И читатели с родственным мне внутренним опытом, хотя бы только в смысле общности судьбы перелета оттуда сюда и жизни здесь, такие читатели могут найтись только здесь. Оттого мне так хотелось "быть понятым моей страной" — я цитирую Маяковского, что, кстати, вопреки принципиальному срывку о главной и боковых линиях русской поэзии, хорошо иллюстрирует мою признательность каждому поэту за слова, мне от него оставшиеся. "Моей страной", означает для меня быть понятым своими, потенциально самыми близкими, а для многих вещей и единственными и д е а л ь н ы м и читателями, а они, по упомянутым мною причинам, могут найтись только среди читателей русской поэзии здесь, если и д е а л ь н ы е читатели, добавлю я, отчасти возвращаясь к началу своих слов, вообще существуют.

*Фрина Гурфинкель,
переводчица
комментариев РАШИ*

Дамы и господа.

Начну с цитаты. "У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется "астероид В-612". Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не верил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!

К счастью для репутации астероида В-612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, — и все с ним согласились.

Я вам рассказал так подробно об астероиде В-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры..."

Вслед за Антуаном де Сент-Экзюпери я тоже позволяю себе напомнить вам об открытии астероида В-612. Оказывается, в глазах взрослых есть прямая зависимость между достоверностью открытия (достоверностью истины) и платьем открывателя. И тем более ощутима зависимость между достоверностью истины, малой или великой, и тем облачением, которое на ней самой.

Есть несколько возможностей передать древнюю мудрость и вечную истину. Можно, например, облачить ее в новомодное платье: в терминологию современной философии, психологии или социологии. Другая возможность заключается в том, чтобы научиться видеть сущность за непривычным облачением. Это длинный и трудный путь. Но в моем представлении он во многих отношениях предпочтительнее первого короткого пути переодевания идей, которое порой напоминает маскарад.

Я не занимаюсь ни астрономией, ни какой-либо другой точной наукой. Я занимаюсь в основном изучением и переводом Книги, которую человечество признает одной из древнейших ценностей мировой культуры. Для себя лично я сделала великое множество открытий, которыми и делюсь с моими слушателями и читателями. Одним из первых и неожиданных открытий было для меня то, что так называемый "ветхий" Завет является вечно новым. Древнейшая Книга обращается лично ко мне, ежедневно и ежечасно; обращается лично к каждому, кто открывает ее с твердым намерением понять, проникнуть в ее внутренний мир.

Препятствия, которые стоят перед нами, можно определить, в основном, как языковой и психологический барьер. Это незнакомое, непривычное и кажущееся странным облачение. Это завеса, скрывающая от наших глаз необозримые просторы иудаизма.

Попытки людей малосведущих говорить об иудаизме, о необъятном океане мудрости и истины или (что еще опаснее) говорить от имени иудаизма всегда казались мне обреченными на провал. Но есть иной выход:

дать возможность источникам иудаизма говорить за самих себя, — на первых порах при посредстве перевода. Правда, в этом случае перевод несколько выходит за рамки обычного определения. Он как бы стремится посвятить читателя в тайны внутреннего языка иудаизма, языка, который представляет собой систему понятий, символов, косвенных указаний и ассоциаций. Отсюда уже видно, что цель нашего перевода коренным образом отличается от цели переводов Танаха, которые были выполнены в середине прошлого века.

Не давая оценки тем старым переводам, позволю себе процитировать “Еврейскую энциклопедию” под редакцией доктора Каценельсона и барона Гинзбурга (т. 4, стр. 534): “...перевод (Мандельштама, 1862 г.) был сделан автором в том убеждении, что ознакомление своих единоверцев с господствующим в государстве языком есть одно из вернейших средств к тесному сближению евреев с русским народом и с условиями русской общественности”.

Сегодня, вне всякого сомнения, нет необходимости обучать русских евреев русскому языку при помощи переводов Танаха, ведь для большинства из нас русский язык был не просто “господствующим в государстве языком”, а родным языком, часто единственным. Нет также необходимости приближать русских евреев к русской или мировой культуре, ибо она давно уже стала частью нас самих. Именно она является тем достоянием, с которым мы вышли из России. Это те общечеловеческие ценности, которые могут помочь нам открыть нашу древнюю культуру, открыть самих себя. В таком открытии собственной сущности, своей истории и культуры первостепенным по важности является изучение нашего духовного наследия, прежде всего Танаха.

Возвращаясь к отличительным свойствам нашего перевода, хотелось бы отметить следующее: издавна известно, что всякий перевод представляет собой толкование. И поэтому методически верным казалось не проходить мимо этой общеизвестной истины, а изучить ее и сознательно пользоваться средствами толкования в процессе перевода Торы. Мы исходили прежде всего из того, что буквальный перевод невозможен в силу семантической и грамматической многозначности текста Торы. Здесь следует искать основное отличие нашего перевода от перевода предшественников. Мы полагали, что перевод Торы (как впрочем и других источников иудаизма) требует от переводчика не только профессиональных знаний и навыков, не только творческого подхода и развитого эстетического чувства. При переводе (как и при изучении) Торы необходим учитель, необходима путеводная нить. И в качестве таковой мы избрали классическое толкование РаШИ (рабейну Шломо Ицхаки).

Перевод Торы представляется нам непрерывным поиском, процессом одновременного разрешения проблем на разных уровнях. Небольшой отрывок из книги Джона Стейнбека “К востоку от Эдема” позволит нам заглянуть в то, что называется “творческой лабораторией” переводчика. Один из героев книги, слуга-китаец, рассказывает удивительную историю, происшедшую с ним, в результате которой он почувствовал, как в его душе окрепло национальное и общечеловеческое начало. И все это в ходе поиска

смысла одного слова из Библии, одного-единственного слова из первых шестнадцати стихов четвертой главы книги "Бытие".

Итак, на слугу-китайца произвел сильное впечатление библейский рассказ о двух братьях, Каине и Авеле, о первом убийстве в истории человечества. Он принялся усердно изучать соответствующую главу. Когда он сравнил несколько переводов на английский язык, оказалось, что расхождение между ними нет. И все же одно место вызывало сомнения и некую неудовлетворенность. После того, как жертва Авеля была принята, а жертва Каина отвергнута, говорится (я цитирую, используя канонический перевод Библии): "Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствовать будешь над ним". Иначе говоря: Каину обещано, что он будет господствовать над грехом. Но это находится в явном противоречии с тем, что с Каином происходит.

Тогда настойчивый китаец достал другой перевод Библии, лишь недавно вышедший из печати, и в нем он обнаружил существенное расхождение. Там было сказано: "...но ты господствуй над ним", то есть Каину было дано повеление, которое он не исполнил. Внимательный читатель по-прежнему оставался в недоумении и решил узнать, что это за слово, которое допускает столь противоположные варианты перевода. Он обратился с вопросом к мудрецам своей общины, к древним старцам, которые на протяжении многих лет занимались изучением Конфуция. И старцы решили, что необходимо изучить язык оригинала. Пригласили раввина и приступили к занятиям. Прошло два года, и когда ученики познали древний язык лучше своего учителя, они почувствовали, что теперь могут уже углубиться в шестнадцать первых стихов четвертой главы. После многодневных бдений и споров мудрецы предложили свой вариант перевода: "Ты можешь властвовать над ним". Старцы улыбались умиротворенно, чувствуя, что не напрасно потратили два последних года. Им открылась великая истина: речь идет не о повелении Каину и не об обещании, что человек будет властвовать над грехом, но о свободе выбора, которая человеку предоставляется. У Каина был выбор. Он мог бороться с грехом и выйти победителем из этого поединка. И тогда китайские мудрецы увидели, как вся история человечества и история его культур отражается в шестнадцати стихах Библии, а быть может, даже в одном слове.

То решение, к которому ученики Конфуция пришли столь трудным путем, предлагает нам РаШИ, говоря: "И тебе властвовать над ним (над грехом) — если пожелаешь, осилишь его, одержишь верх над ним".

Я, разумеется, несколько не отрицаю значения Конфуция, но при изучении и при переводе Торы отдаю явное предпочтение РаШИ, который свою мудрость черпает из древнейших сокровищниц еврейского духовного наследия.

ПИСЬМА

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "22"

В журнале "22" (№ 48) опубликован очерк Хмельницкого "Из чрева китова". Считаю нужным сделать по этому поводу несколько замечаний.

В 1948 году меня, студента МГУ, органы Госбезопасности пытались привлечь к охоте за иностранкой, за дочь французского военно-морского атташе, Элен Пельтье (Замойска). Очевидно, она была нужна советской разведке как подход к ее отцу. Вместо того, чтобы работать на органы, я, желая спасти Элен, рассказал ей о планах и замыслах МГБ. Тем самым я совершил тогда государственное преступление (ст. 58-1, ныне 64 — "измена Родине"). Ни МГБ, ни Хмельницкий об этом, конечно, не знали. А с Элен с той поры мы стали большими друзьями и много помогали друг другу. В частности, в 52-м году, в Вене, мы договорились, что с ее помощью я стану печататься на Западе. И в 1956 году Элен Пельтье увезла из Москвы мои первые рукописи.

В том же 1948 году сначала для слежки за Элен Пельтье, а параллельно — за своими друзьями Брегелем и Кабо, — был привлечен органами С. Хмельницкий, который почему-то не предупредил намеченные МГБ жертвы, а стал стучать на них всерьез. В результате его деятельности осенью 49-го года два лучших друга Хмельницкого — Брегель и Кабо — были арестованы и получили по десять лет лагерей. О многих эпизодах этого дела мне рассказывал Юрий Брегель, с которым я познакомился уже в эмиграции.

Вот этим событиям и посвящена одна из глав моего романа "Спокойной ночи".

Предоставим слово двум главным свидетелям и участникам этого сюжета, тоже героям моего романа.

Элен Замойска (Пельтье):

22 августа 1986 г.

Дорогой Андрюша!

На днях у меня была в руках статья С.Хмельницкого о тебе. Печально видеть, как можно писать на таком уровне. К тому же воображение у него просто патологического характера. Так что, по-моему, не стоит даже его принимать всерьез.

Вообще, он не заметил, что ты не писал точные воспоминания. Ты на основе собственного опыта написал именно роман, где личности и события во многом преобразены в фантастическом духе.

Но то, что не является литературным приемом и соответствует действительности, это фактическая сторона сложных обстоятельств нашей юности ("Сокольники", Вена). Ты открыл мне планы МГБ и роль С.Хмельницкого, и мы тогда его использовали, чтоб обмануть МГБ. Но самое важное то, что ты никогда не был "предателем". И это имело для меня не только личное значение.

Когда я после войны попала в Московский Университет, передо мной открылся совершенно новый и непонятный мир, полный неожиданных контрастов и противоречий — я чувствовала у своих товарищей то, что я представля-

ла себе из русского духа, то есть непосредственность, сердечную простоту, жажду культуры и высокого идеала. Но все эти качества были как-то заглушены общей тяжелой атмосферой. Мне казалось, как будто железный занавес глубокого недоверия стоял не только между мною и другими, но между нашими товарищами – они повторяли высокопарные фразы о счастье человечества, а я остро ощущала одиночество каждого. Кому доверять?

Еще меня поражало у них полное отсутствие этических основ. Путали они добро и зло, совсем не понимали, что это значит. Помню, что это было главной темой моих споров и рассуждений не только с тобой, но и почти со всеми товарищами.

В один прекрасный день такой вопрос не стал отвлеченным для тебя. Тебе пришлось выбрать. Несмотря на твою тогдашнюю веру в идеальный коммунизм, несмотря на опасность, ты поступил как герой из "Первого круга", решил, что нужно жить прежде всего по совести. Ты не обманул меня, не предал. Совершилось чудо доверия. Я этого никогда не забуду.

Я тогда поняла, что ты вступил в невидимый духовный союз со всеми, которые стараются защищать достоинство человека от обмана, лжи, неволи, насилия на твоей родной земле и везде в мире.

Позже, когда вместе с Ю. Даниэлем ты не признал себя виновным, это было большое событие не только в честь тебя, но в честь твоей родины.

Этого не понимают те, которые остались в плену железного занавеса недоверия и страха.

Духовный бой за правду, за совесть, за свободу – вечный бой. Пусть Бог поможет тебе и всем твоим духовным братьям и сестрам продолжать его.

Лена.

Юрий Брегель:

Дорогой Андрей Донатович,

Я только что прочитал Ваш роман "Спокойной ночи" и, поскольку мое имя в нем упоминается, я хотел бы добавить несколько деталей к характеристике Сергея [Григорьевича] Хмельницкого, столь хорошо Вами изображенного в пятой главе романа. На стр. 384-385 Вы пишете, в частности, что Хмельницкий в разговоре с Вами помянул, что он считал себя "убийцей" Брегеля и Кабо (так как донес на моего друга и на меня). То, что он на нас донес, или, вернее, систематически доносил, – это, как говорил Остап Бендер, медицинский факт, независимо от того, что Вы это услышали от самого Хмельницкого, какой, естественно, не может быть полноценным свидетелем в данном случае.

Роль Хмельницкого стала мне абсолютно ясна уже во время следствия (я был арестован 1 ноября 1949 г.). Кабо был арестован ровно одним месяцем раньше, и в течение месяца следом за этим Хмельницкий регулярно, один или два раза в неделю, приходил ко мне домой. Во время следствия мне предъявляли как инкриминирующие материалы (среди прочего) те разговоры, которые я вел в течение этого месяца с Хмельницким один на один; содержание этих разговоров стало известно КГБ до мельчайших деталей. КГБ стало также известно, что после ареста Кабо я уничтожил свои записные книжки – что происходило в присутствии Хмельницкого, и только его одного (причем он пытался отговорить меня от этого).

В начале 1964 года, когда С. Хмельницкий защищал кандидатскую диссертацию в Институте истории культуры, я выступил в начале заседания и сообщил, что по доносам Хмельницкого были посажены двое его друзей – Кабо и я. Хмельницкий ответил на это, что это клевета. Однако, когда после этой защиты от Хмельницкого отшатнулись все его московские друзья, он

позвонил мне и попросил встретиться со мной. Я на это согласился. Он пришел в Институт востоковедения в Москве (где я тогда работал) со своей женой, я был вместе с Кабо. Разговор был короткий. Он просил нас не губить его семью, говоря, что у нас пропало пять лет жизни, а у него теперь пропадет вся жизнь. (Мы ему ответили, что у нас пропало пять лет, а не больше — или не вся жизнь, только потому, что он не мог предвидеть, что Сталин умрет в 1953 году.) Его жена добавила, что он глубоко раскаивается и что он за это время стал другим человеком. В заключение Хмельницкий стал просить у нас совета: что ему теперь делать, на что мы ему сказали, что за советом нужно было обращаться до того, как он начал на нас доносить. На этом мы и расстались. (Все это было весной 1964 года.)

Важно одно: во время этой встречи Хмельницкий ни разу не пытался отрицать, что он нас посадил, но только просил, чтобы мы не преследовали его. Для нас его признание или отрицание не имело большого значения: мы это знали точно из нашего следственного дела.

Помимо этого, Хмельницкий изображен Вами в точности таким, каким знал его также и я, и я мог бы добавить еще кое-какие штрихи для его характеристики в том же духе...

Ваш Ю. Брегель
24.8.85

Я хорошо понимаю, что роман "Спокойной ночи" — это произведение для Лубянки малоприятное и что КГБ постарается свести со мной счеты. И голос Хмельницкого "из чрева китова" меня не удивляет. Раскрытый в своей роли стукача в 56-м году, когда вернулись Брегель и Кабо, он долгое время изворачивался, запирался и врал, выдвигая одну ложную версию за другой. Наконец, спустя тридцать лет он впервые публично посадил (и то скороговоркой) в журнале "22" признает, что действительно посадил (цитирую) "двух моих товарищей, ни в чем, конечно, неповинных". Притом свое "покаяние" Хмельницкий тут же старается превратить в обвинение против меня, громоздя новую ложь. За правдивость своих рассказов он может поручиться лишь "честным словом" многократно избличенного лжесвидетеля.

В 1965 году, в порядке оперативной работы, Хмельницкого подключили к подготовке следствия и судебного процесса надо мной и Даниэлем. На суде он выступал как свидетель обвинения и подыгрывал прокурору (см. "Белую книгу" А. Гинзбурга).

Теперь он вынырнул вдруг в Западном Берлине и взялся опять за работу: клевета и дезинформация. Все это закономерно. Но странно, с какой радостью некоторые эмигрантские деятели (и даже вчерашние диссиденты) в этой ситуации протянули "руку дружбы" КГБ и схватились за показания человека, по показаниям которого уже садились люди. Откуда такой кредит доверия старому провокатору?

А. Синяевский

В связи с письмом А. Синяевского редакция хотела бы отметить, что, по моему мнению, нравственная сторона вопроса, поднятого публикацией очерка С. Хмельницкого ("22" № 48), исчерпана самим фактом публикации и ее дальнейшее обсуждение излишне.

Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки: в Израиле, в связи с переходом на новое оформление обложки, — 44,8 новых шекеля (до выхода следующего номера; после этого — в соответствии с новым уровнем цен); за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах.

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Воликобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В июле-сентябре журнал поддержали пожертвованиями следующие читатели: В. Верцбергер (Явне) — 10 шек., Э. Гинзбург (Беэр-Шева) — 25 шек., доктор Е. Казакова (Лод) — 10 шек., Ц. Левин (Кирыат-Моцкин) — 10 шек., А. Таль (Кирыат-Оно) — 10 шек., профессор Фурман (Иерусалим) — 40 шек., Л. Шенкер (Кирон) — 25 шек., Н. Ярон (Тель-Авив) — 15 шек., доктор Бронштейн (Берлин) — 10 долл., Б. Блехман (США) — 20 долл., Г. Вильдгрубе (США) — 20 долл., Ю. Тувим (США) — 25 долл., С. Юровская (США) — 20 долл. Всем этим людям мы приносим искреннюю и глубокую благодарность.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии

"ЯКОВ ПРЕСС"

ул. Рош-Пина, 22

Тель-Авив

